

ВЛАДИМИР
СОРОКИН



**ЛЕДЯНАЯ
ТРИЛОГИЯ**

Владимир Сорокин
Ледяная трилогия

«АСТ»

2009

Сорокин В. Г.

Ледяная трилогия / В. Г. Сорокин — «АСТ», 2009

ISBN 78-5-17-050035-2

Владимир Сорокин завершает свою «Трилогию». Сперва был «Лед». Потом появился «Путь Бро». Теперь оба романа под одной обложкой и вместе с ними последняя часть «23 000», ровно по числу Братьев Света. Тех самых, что пробудились после падения Тунгусского метеорита и теперь ищут воссоединения на погибель нашей планеты.

ISBN 78-5-17-050035-2

© Сорокин В. Г., 2009

© АСТ, 2009

Содержание

Путь Бро	5
Детство	5
Революция	17
Дорога	21
Петроград	23
Экспедиция	29
Лед	46
Сестра Фер	53
Братья	63
Сила сердца	89
Сестры	91
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Владимир Сорокин

Ледяная трилогия

*Из чьего чрева выходит лед,
и иней небесный, —
кто рождает его?*

Книга Иова, 38:29

*Итак, отложим, братие, дела темные и станем делать дела
света.*

Святитель Григорий Палама

Путь Бро

Детство

Я родился 30 июня 1908 года в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева. Отец к тому времени состоялся как крупнейший российский сахарозаводчик и владел двумя имениями – в Васкелово, под Санкт-Петербургом, где я родился, и в Басанцах, на Украине, где мне суждено было провести свое детство. Помимо этого у нашей семьи был небольшой, но уютный деревянный дом в Москве на Остоженке и большая квартира на Миллионной в Санкт-Петербурге.

Имение в Басанцах отец выстроил сам в «троглодитову эру сахарного дела», когда купил две тысячи десятин плодородной украинской земли под сахарную свеклу. Он был первым русским сахарозаводчиком, решившим обзавестись собственными сахарными плантациями, а не скупать буряки по старинке у крестьян. Там же они с дедом построили сахарный завод. В имении не было большой необходимости, так как семья уже жила в столице. Но опасливый дед настоял, повторяя, что «хозяин в наше лихое время должен быть поближе к бурякам и заводу».

Басанцы отец недолюбливал.

– Страна хохляцких мух, – часто повторял он.

– Мухи на твой сахар летят! – смеялась матушка.

Мух там и впрямь было предостаточно. Жара стояла все лето. Но зима была чудесной – мягкой и снежной.

Имение в Васкелово отец приобрел попозже, когда уже стал по-настоящему богатым человеком. Это был строгий старинный дом с колоннами и двумя флигелями. Именно в нем мне суждено было появиться на свет. Роды случились преждевременно, матушка недоносила меня две недели. По ее словам, причина тому – удивительная погода, стоявшая в тот день. Несмотря на безоблачное небо и безветрие, вдруг раздались раскаты далекого грома. Гром этот был необычный: мама не только услышала его, но и *почувствовала* плодом, то бишь мною.

– Гром тебя словно подтолкнул, – рассказывала она. – Ты родился легко и весил как доношенный ребенок.

В последующую ночь на 1 июля северная часть неба оказалась необычно и сильно подсвечена, поэтому ночи как таковой вовсе не было: вечернюю зарю сразу сменила утренняя. Это было очень странно – белые ночи к концу июня иссякают. Матушка моя шутила:

– Небо светилось в твою честь.

Родила меня она на жестком и всегда прохладном кожаном диване в кабинете отца: схватки застали ее за «дурацким разговором о старой клумбе и новом садовнике». Прямо напротив этого дивана во всю стену тянулись дубовые полки с сахарными головками. Каждая отливалась из сахара своего урожая и весила пуд. На каждой стоял оттиск ее года. Массивные белые конусы из крепчайшего рафинада, вероятно, были первым, что я увидел на этом свете. Во всяком случае, они вошли в мою детскую память наравне с образами матери и отца.

Меня окрестили Александром в честь русского святого и полководца Александра Невского и в память моего прадеда Александра Саввича, зачинателя купеческого дела Снегиревых. Звали меня все по-разному: отец – Александром, мама – Шурой, тетушки – Сашенькой, сестры – Шуренком, старший брат Василий – Алексом, брат Ваня – Саней, гувернантка Madam Papaget – Саша, объездчик Фрол – Ляксандром Дмитричем, конюх Гаврила – малым барином.

В семье было семеро детей: четверо сыновей и три дочери, одна из которых, Настя, была горбуньей. Еще один мальчик умер от полиомиелита в пятилетнем возрасте.

Я оказался поздним ребенком – самый взрослый из братьев, Василий, был старше меня на семнадцать лет.

Мой отец был высоким, лысоватым и мрачноватым человеком с длинными и сильными руками. В характере его переплетались энергичность, обстоятельность, мрачноватая задумчивость, грубость и властолюбие. Иногда он мне напоминал машину, которая периодически ломалась, чинила себя и снова исправно работала. Он боготворил прогресс и посылал управляющих четырех своих заводов учиться в Англию. Но сам за границу не любил, повторяя, что «у них там надо по струне ходить». Он был совершенно не способен к языкам и по-французски знал три десятка заученных фраз. Мать рассказывала, что за границей он терялся и чувствовал себя не в своей тарелке. Отец происходил из старого купеческого рода саратовских зерно-торговцев, постепенно сделавшихся фабрикантами. Большой семье Снегиревых принадлежали четыре сахарных завода, кондитерская фабрика и пароходство. В молодости отец учился в Саратовском университете на политехническом факультете, но с третьего курса ушел по непонятным причинам. И сразу впрягся в семейное дело. Раз в два месяца он впадал в мрачный запой (к счастью, не более чем на трое суток), нередко громил мебель и ругал мать последними словами, но ни разу не поднял на нее руку. Протрезвев, просил у нее прощения, ехал в баню, потом в церковь – каяться. Но сильно верующим он не был.

Детьми же он вовсе не занимался. Мы были на попечении матушки, нянек, гувернанток и бесчисленных родственников, кишевших в обоих имениях.

Моя мать являла собой образец жертвенной русской женщины, забывшей себя ради детей и семейного благополучия. Наделенная замечательной красотой (она была наполовину осетинкой, наполовину теркской казачкой), горячим сердцем и широкой душой, она отдала свою бескорыстную любовь сначала отцу, который влюбился в нее до беспамятства на Нижегородской ярмарке, потом нам, детям. К тому же мать была гостеприимна до безумия: уехать от нас случайно заглянувшему гостю было решительно невозможно.

Хоть я и рос самым младшим в семье, самым любимым я не был: отец привечал смышленного и послушного Илью, проча его в приемники, мать обожала красивого и нежного Ванюшу, любителя книг про королей и вареников с вишнями. Силач и балагур Василий у отца слыл повесой, у которого «в голове черти горох молотят», а я – шалопаем. Три сестрицы мои характерами почти не различались: энергичные, жизнелюбивые, в меру эгоцентричные и впечатлительные, они легко и надолго впадали как в слезы, так и в хохот. Все трое яростно музицировали, и в этом горбатая Настенька преуспевала, всерьез готовясь к карьере пианистки. Разнились сестры только отношением к отцу. Старшая, Ариша, его боготворила, средняя, Василиса, боялась, Настя ненавидела.

Семья жила в четырех местах: Василий в Москве, где мучительно и бесконечно учился на адвоката, Василиса и Ариша – в Петербурге, Ваня с Ильей – в Васкелово, а мы с Настей – в Басанцах.

До девяти лет я прожил и получил воспитание в усадьбе. Помимо гувернантки французки, занимавшейся со мной иностранными языками и музыкой, у меня был домашний учитель Диденко – молодой человек с невзрачной внешностью и провинциальными манерами, тихим и вкрадчивым голосом учивший меня всему, что знал. Более всего ему нравилось рассказывать о великих завоевателях и небесных телах. Говоря о походах Ганнибала и солнечном затмении, он преображался, и в его мутных глазах появлялся блеск. К моменту поступления в гимназию я знал, чем отличается Аттила от Александра Македонского, а Юпитер от Сатурна. Хуже дело обстояло с русским языком и арифметикой.

Догимназическое детство мое было вполне счастливым. Теплая и благодатная природа Украины качала меня, как колыбель: я ловил птиц и рыбу с сыновьями управляющего, катался с отцом на английском катере по Днепру, собирал гербарий с французенкой, дурачился и музицировал с Настей, ездил на свекловичные поля и на покос с объездчиком, ходил в церковь с матушкой и тетками, учился верховой езде с конюхом, а по вечерам наблюдал в телескоп за светилами с Диденко.

В августе вся семья встречалась в Васкелово.

Южная украинская природа уступала место русскому северу, и вместо каштанов и тополей наш белый дом с колоннами обступали строгие и сумрачные ели, меж вековыми стволами которых проблескивало озеро. Длинная каменная лестница вела к нему от дома. Сидя на ее замшелой гранитной ступени и свесив ноги над водой, я любил кидать в озеро камни, глядя, как рождается круг на воде и, стремительно расширяясь, скользит по стеклу озера, несясь к каменистым берегам.

Озеро было всегда холодным и спокойным. А наша многочисленная семья – шумной и многоголосой, как стая весенних птиц. Лишь мрачноватый и малоразговорчивый отец казался в этой стае грозным вороном. Мне было хорошо в кругу родных, который, как и круги на воде, расширялся с каждым днем, пополняя оба имения новообретенными родственниками и родственниками этих родственников. Богатство отца, гостеприимство и сердобольность матери, домашний уют и достаток притягивали людей как мед. Приживалы и приживалки, странствующие монахи и спивающиеся актеры, купеческие вдовы и проигравшиеся майоры гудели по гостиным и флигелям пчелиным роем. В будни, когда садились обедать, стол накрывался человек на двадцать. В дни праздников и именин в столовой северного имения сдвигались три стола, а в Басанцах столы выносили в сад, под яблони.

Отец этому не препятствовал. Наверно, он любил такой стиль жизни. Но особого восторга на его лице во время семейных пиршеств я не замечал. Хохотал и плакал он только сильно пьяный. И я никогда не слышал от отца слово «счастье». Был ли он счастлив? Не знаю.

Матушка же безусловно была счастлива. Ее светлый дух человеколюбия и созидания парил и реял над нами. Хотя она частенько повторяла, что «счастье – это когда хлопот невпоровот и некогда задумываться».

В этом человеческом улье я рос здоровым и счастливым.

Я, как и матушка, особенно не задумывался, спрыгивая в июльский полдень с пыльной двуколки объездчика и несясь через анфиладу прохладных комнат на звуки «Баркаролы» с букетиком земляники, собранной мной на дальних лугах и перевязанной травинкой, чтобы вручить его музицирующей Настеньке, одновременно положив на ее горб улитку или жука, что вызывало вскрик, плескание в меня недопитым молоком, битье «Временами года», примирение и совместное поедание ягод на нагретом солнцем подоконнике.

Лишь одна странность в детстве пугала и притягивала меня.

Мне часто снился один и тот же сон: я видел себя у подножия громадной горы, такой высокой и беспредельной, что у меня *вяли* ноги. Гора была *ужасно* большая. Такая большая, что я начинал мокнуть и *хлебно крошиться*. Вершина ее уходила в синее небо. До вершины было *очень* высоко. Так высоко, что я весь гнулся и разваливался, как булка в молоке. И ничего не мог поделать с горой. Она стояла. И ждала, когда я посмотрю на ее вершину. Это все, чего она хотела от меня. А я *никак* не мог поднять свою голову. Как я мог это сделать, если весь гнулся и крошился? Но гора *очень* хотела, чтобы я посмотрел. Я понимал, что если не посмотрю, то весь раскрошусь. И *навсегда* стану хлебной тюрей. Я брал голову руками и начинал поднимать ее. Она поднималась, поднималась, поднималась. И я смотрел, смотрел и смотрел на гору. Но все не видел, не видел и не видел вершины. Потому что она была высоко, высоко, высоко. И *страшно* убегала от меня. Я начинал рыдать сквозь зубы и задыхаться. И все поднимал и поднимал свою тяжелую голову. Вдруг спина моя переламывалась, я весь разваливался на мокрые куски и падал навзничь. И видел вершину. Она сияла СВЕТОМ. Таким, что я *исчезал* в нем. И это было так *ужасно* хорошо, что я просыпался.

Утром я подробно помнил этот сон и за завтраком пересказывал его родным. Но на них это не производило должного впечатления.

Отец со свойственной ему грубоватой прямоотой советовал «поменьше фантазировать, побольше дышать кислородом». Мать же просто крестила меня на ночь, кропила святой водой и клала под подушку образок Целителя Пантелеймона. Сестры не находили в моем сне ничего удивительного. Братья меня попросту не слушали.

В течение дня загадочная гора иногда всплывала для меня одного то тут, то там – сугробом возле крыльца, клином торта в тарелке сестры, можжевельным кустом, подстригаемым садовником в виде пирамиды, метрономом Настеньки, горой сахарного песка на отцовском заводе, углом моей подушки.

Но к обычным горам я тем не менее был равнодушен. Показанный Диденко красивый атлас с надписью «Les plus grands fleuves et montagnes du Monde» не поразил меня узнаванием: среди Джомолунгмы, Юнгфрау и Арарата моей горы не было. Это были просто какие-то обычные горы. Мне же снилась Гора.

Постепенно мое райское детство стало давать трещины. И в них просачивалась русская жизнь. Сперва в виде слова «война». Мне было шесть лет, когда я услышал его на террасе нашей украинской усадьбы. Мы сильно заждались отца с завода к обеду и по команде матушки принялись уже за трапезу, как вдруг прогремели дрожки и он вошел как-то медленней обычного. Серьезный, грозно торжественный, в нанковой тройке с белой шляпой и газетой в руках.

Бросил газету на стол:

– Война!

Вытащил из кармана платок, отер им крепкую длинную шею:

– Сперва австрийская сволочь, потом пруссаки. Хочется им Сербию сожрать.

Сидящие за столом мужчины повставали с мест, обступили отца и загалдели. Настя с Аришей растерянно посмотрели на мать. Она выглядела испуганной. Я же, прожевывая слишком большой кусок пирога с яйцом, уставился на газету. Она лежала рядом со мной между графином с малиновым морсом и блюдом с бужениной. Большое черное слово ВОЙНА было сложено пополам. Под ним виднелось слово поменьше – СЕРБИЯ. Оно заставило меня вспомнить серп, которым бабы жали пшеницу и гречиху на наших приусадебных полях. Прусаками у нас звали рыжих тараканов. Представив, как они рыжей тучей набросятся на железный СЕРП и сожрут его, к ужасу жницы, я содрогнулся и шумно выплюнул на газету непрожеванный кусок.

На меня никто не обратил внимания. Мужчины сдержанно галдели вокруг отца, стоявшего, как обычно, слишком прямо и, выставив сильный подбородок, что-то говорящего им об ультиматуме Австро-Венгрии. Женщины притихли.

Я же смотрел на непрожеванный кусок пирога, лежащий на черном слове ВОЙНА. Не знаю почему, но на всю жизнь для меня это стало символом войны.

Потом война вошла в обиход.

За завтраком вслух зачитывались вести с фронта. Имена генералов стали почти родными. Мне почему-то больше всех нравился генерал Куропаткин. Я представлял его дядькой Черномором из «Руслана и Людмилы». Еще мне нравилось слово «контрнаступление». Мы переехали в Васкелово, ездили на вокзал провожать наши войска, мама и сестры шили белье для раненых, резали бинты, делали ватные тампоны, посещали лазареты и однажды снялись на фотографии вместе с государыней и ранеными. Василий, несмотря на протест отца и слезы матери, пошел вольноопределяющимся.

Вскоре после начала войны я познакомился еще с двумя верными спутниками человечества – насилием и любовью.

Весной отец поехал в Басанцы, прихватив нас с Настей. Было Вербное воскресенье, и мы на трех дрожках с тетушками и приживалами отправились в церковь. Красивая, бело-голубая, обновленная отцом, она стояла на краю села Кочаново – соседнего с Басанцами. В церкви мне всегда было уютно и спокойно. Мне нравилось, что все крестятся, кланяются и поют. В этом было что-то загадочное. Во время службы я старался все делать как взрослые. Когда батюшка стал брызгать святой водой на вербные ветки и капли попали мне на лицо, я не засмеялся, но стоял спокойно, как все. Однако к концу я всегда начинал скучать и не понимал, почему все это должно длиться так долго.

Когда служба кончилась, мы с толпой народа стали выходить из храма. Прямо за нами возникла толчея и несколько голосов зашпорили:

– Хохлы завсегда первыми лезут!

– Поприихалы москали товкатыся!

Погода стояла весенняя, светило солнце, остатки снега хрустели под ногами. Отец и тетушки стали одаривать нищих, а мы с Настей сели в бричку и смотрели на площадь перед церковью. Она вся была запружена народом. Некоторые были уже пьяны. Здесь толкались селяне хохлы и заводские, которые работали на заводе отца. Завод стоял в версте от села, а прямо за широким оврагом начинался заводской поселок, выстроенный еще моим дедушкой. Хохлы лузгали тыквенные семечки и галдели, заводские курили и пересмеивались. Вдруг в толпе кто-то вскрикнул, послышался звук оплеухи, чей-то картуз покатился, возникло оживление, и мужчины побежали к оврагу. Женщины завизжали и побежали следом. Вмиг площадь опустела, на ней остались только нищие, калеки, два урядника с большими шашками да мои родные.

– А куда это они? – спросил я Настю, которая была старше меня на четыре года.

Жуя просфорку, Настя шлепнула ладошкой по ватной спине извозчика:

– Микола, куда они побежали?

Смуглолицый хохол с вислыми усами обернулся, заулыбался:

– То, барыня, побиглы бисови диты морды быты.

– Кому? – насторожилась Настя.

– А сами соби.

– За что?

– Та нэ знаю...

Мы привстали на дрожках. В овраге мужчины выстроились в две шеренги – в одной заводские, в основном приезжие русские, в другой – местные селяне-украинцы. Женщины, старики и дети стояли на краю оврага и смотрели сверху. Снова махнули шапкой, и началась драка. Она сопровождалась женским визгом и подбадривающими криками. Впервые в жизни я видел, как люди сознательно избивают друг друга. В нашей семье, кроме отцовских подзатыльников, маминых шлепков и постановки провинившегося ребенка в угол, наказаний не было.

Отец часто орал на маму до посинения, топал ногами на прислугу, грозил кулаком управляющим, но никогда никого не бил.

Я смотрел на драку как замороженный, не понимая смысла происходящего. Люди в овраге делали что-то очень важное. Делали *тяжело*. Но очень старались. Так старались, что чуть не плакали. Они кричали, ругались и вскрикивали. И словно что-то *отдавали* друг другу кулаками. Мне стало интересно и страшно. Я стал дрожать. Настя заметила и обняла меня:

– Не бойся, Шуренок. Это же мужики. Папа говорит, что они только пьют и дерутся.

Я взял Настину руку. Настя смотрела на драку как-то *непонятно*. Она словно перестала быть сестрой. И стала далекой и взрослой. А я остался один. Драка продолжалась. Кто-то падал на снег, кого-то таскали за волосы, кто-то отходил, плюясь красным. Настина рука была горячей и чужой.

Наконец засвистели урядники, закричали старики и женщины.

Драка прекратилась. Драчуны с руганью двинулись восвояси – хохлы в Кочаново, фабричные – в поселок. Моя сердобольная мама не удержалась и выкрикнула им вслед:

– Бесстыдники! Православные с немцем воюют, а вы в праздник друг другу морды бьете!

Отец усмехался краем тонкогубого рта:

– Ничего, пусть попотешат жилку. Покойнее будут.

Он опасался стачек и забастовок, сотрясших русские заводы в 1905 году. Но все же был доволен: демобилизация его рабочих не коснулась, так как сахар в военное время был приравнен к стратегическим продуктам. Война сулила отцу большой барыш.

Мама села к нам, кучер дернул поводья, чмокнул, дрожки тронулись. Я отпустил руку Насти. Мимо шли двое заводских парней в распахнутых зипунах. Глаз одного был подбит, но радостно поблескивал. Другой парень трогал разбитый нос. Матушка негодуя отвернулась.

– Во как, барин, хохлов поучили! – Парень с подбитым глазом вытащил что-то из костяшки левого кулака, показал мне, подмигнул и засмеялся. – Зуб хохляцкий в колотуху влип!

Его приятель быстро наклонился и сильно высморкался. Красные брызги окрасили снег. Парни были *счастливы*. У обоих был какой-то *невидимый* подарок. Получили они его в драке. И шли с ним домой.

Но я так и не понял, *что* это за подарок. А Настя и другие взрослые – понимали. Но не говорили. Мне вообще *много* не говорили.

Тайны мира я открывал сам.

В конце июля мы перебрались в Васкелово. В полдень после двухчасового занятия с madam Panaget я пил топленое молоко с гонобобелем и отправлялся в сад погулять до обеда. Обустроенный полтора века назад, сад сохранил лишь остатки былой роскоши – прежний владелец совсем не заботился о нем. Я любил пускать бумажные кораблики в пруду, лазить по пригнувшейся к земле раките или, спрятавшись за можжевельниковыми кустами, бросаться еловыми шишками в старого мраморного фавна. Но в тот день не хотелось ничего. Настя в доме музицировала, мама с няней варили варенье, отец, прихватив Илью и Ивана, уехал в Выборг покупать какую-то машину, Ариша и Василиса дремали с книжками в шезлонгах. Я побрел по саду, достиг его самого заросшего угла и вдруг увидел нашу горничную Марфушу. Протиснувшись меж двух раздвинутых железных прутьев в ограде, она скрылась в лесу, начинающемся прямо за садом. В ее торопливых движениях было что-то совсем не похожее на нее – пухло-спокойную, неспешно-улыбчивую, с глуповатым выкатом карих глаз. Я почувствовал в этом тайну, пролез в ограду и осторожно побежал за Марфушей. Ее строгое синее платье с белым передником необычно выделялось на фоне дикого леса. Девушка быстро шла по тропинке, не оборачиваясь. Я шел следом по мягкой от хвойных иголок земле. Густой старый ельник стоял вокруг. В нем было сумрачно и перекликались редкие птицы. Через полверсты он оборвался: здесь начиналось небольшое болото. На опушке леса были устроены три шалаша из еловых

веток. Каждую весну отец с друзьями охотился здесь на тетеревов, токующих на болоте. Из шалаша раздался свист. Марфуша остановилась. Я спрятался за толстую ель. Марфуша оглянулась и вошла в шалаш.

– Я уж думал – не придешь... – раздался мужской голос, и по нему я узнал Клима, молодого слугу.

– Скоро обедать сядут, барыня варенье варит, господи, хоть бы не хватилась... – быстро заговорила Марфуша.

– Не бойсь, не хватится... – пробормотал Клим, и они стихли.

Я, крадучись, пошел к шалашу, чтобы вскрикнуть и испугать их. Дойдя до края шалаша, я уже было открыл рот, но замер, увидя сквозь высохшие еловые ветки Клима и Марфушу. На земле в шалаше была постелена мешковина. Они стояли на ней на коленях и, обнявшись, сосали друг другу рты. Я никогда не видел, чтобы люди так делали. Клим сжимал рукой грудь Марфуши, и она постанывала. Это длилось и длилось. Руки Марфуши бессильно висели. Щеки ее горели румянцем. Наконец рты их разошлись, и кудрявый худощавый Клим стал расстегивать Марфушино платье. Это было совсем непонятно. Я знал, что снимать платье с женщин может только доктор.

– погоди, передник сниму... – она сняла передник, аккуратно сложила и повесила на ветку.

Клим расстегнул ей платье, обнажил ее молодую и крепкую грудь с маленькими сосками и стал жадно целовать, бормоча:

– Люба моя... любя моя...

«Он что – ребенок?» – подумал я.

Марфуша вздрагивала и прерывисто дышала:

– Климашка... светик мой... а ты меня правда любишь?

Он пробормотал что-то, стал дальше расстегивать синее шуршащее платье.

– Не надо так... – Она отстранила его руки, подняла подол платья.

Под платьем была белая нательная рубашка. Марфуша подняла ее. И я увидел женские бедра и темный треугольничек паха. Марфуша быстро легла на спину:

– Господи, грех-то какой... Климашка...

Клим приспустил штаны, повалился на Марфушу и беспокойно заворочался.

– Ох, не надобно этого... Климашка...

– Молчи... – пробормотал Клим, ворочаясь.

Он стал быстро двигаться и рычать как зверь. Марфуша же стонала и вскрикивала, бормоча:

– Господи... ой, грех-то... господи...

Тела их дрожали, щеки налились кровью. Я остро понял, что они делают что-то очень постыдное и тайное, за что их накажут. К тому же им было очень тяжело и, наверно, больно. Но им *очень-очень* хотелось это делать.

Вскоре Клим крикнул, как крикают мужики, когда раскалывают колуном полено, и замер. Он словно заснул, лежа на Марфуше, как на перине. Она же тихо стонала и гладила его кудрявую голову. Наконец он заворочался, приподнялся, вытер рот рукавом.

– Господи... а ежели ребеночек будет? – подняла голову Марфуша.

Клим смотрел на нее так, словно впервые видел.

– Вечеру придешь? – хрипло спросил он.

– Господи, кто ж меня пустит? – Она стала застегиваться.

– Приходи, как стемнеет... – Клим шмыгнул носом.

– Климашка, касатик, что ж таперича будет? – Она вдруг прижалась к нему.

– А ничаво не будет... – пробормотал он.

– Ой, побегу я... – вздохнула она.

- Ступай, я опосля... – Клим сумрачно покусывал веточку.
- Сзади не мокро на подоле?
- Не-а...

Я стал пятиться от шалаша, повернулся и побежал к дому.

Увиденное в шалаше потрясло меня так же, как и драка в овраге. Я понял всем своим маленьким существом, что и то и другое – очень важно для людей. Иначе бы они не делали это с такой страстью и силой.

Про деторождение вскоре я узнал от брата Вани. После чего сцена в шалаше обрела еще одно измерение: я понял, что дети рождаются от *тайного кряхтения*, которое тщательно скрывается ото всех. Ваня поведал мне, что детей делают только ночью. Я стал прислушиваться по ночам. И однажды, проходя мимо родительской спальни, услышал те же стоны и кряхтение. Вернувшись к себе в постель, я лежал и думал: какое это все-таки странное занятие – делать детей. Одно было непонятно – почему это скрывается?

Утром за завтраком, когда Марфуша, Клим и старый папин слуга Тимофей обслуживали нас, а сидящие за столом, как обычно, обсуждали фронтовые сводки, я вдруг спросил:

- А у Марфуши будет ребенок?

Разговор стих. Все посмотрели на Марфушу. Она в этот момент держала фарфоровую чашу, из которой седовласый и мясистоносый Тимофей с неизменным страдальчески-озабоченным выражением лица раскладывал уполовинником по тарелкам манную кашу. Клим, стоя в углу столовой у самоваров, наполнял чаем стаканы. Марфуша покраснела сильнее, чем тогда в шалаше. Чаша в ее руках задрожала. Клим косо глянул на меня и побелел.

Спасла всех матушка. Вероятно, она догадывалась о связи горничной и слуги.

- У Марфуши, Шурочка, будет пятеро детей, – произнесла матушка.

И добавила:

- Трое мальчиков и две девочки.

– Правильно... – хмуро согласился отец, обильно поливая свою кашу вареньем. – А потом – еще пять. Чтоб было кому на войну идти.

Все одобрительно засмеялись. Марфуша попыталась улыбнуться.

У нее это получилось плохо.

С каждым месяцем война вторгалась в нашу жизнь все сильнее. С фронта вернулся Василий. Вернее – его привезли с вокзала в отцовском автомобиле. Автомобиль дал три гудка, мы побежали встречать героя войны, писавшего короткие, но сильные письма. Василий вылез из автомобиля и, опираясь на шофера и Тимофея, стал подниматься к нам по лестнице. Он был в шинели, фуражке и с сильно желтым лицом. Тимофей осторожно держал его деревянную палку. Василий как-то виновато улыбался. Мы кинулись его целовать. Мама рыдала. Отец подошел и стоял, напряженно глядя на Василия и моргая. Сильный подбородок его подрагивал.

В Польше под Ловичем Василий попал под газовую атаку немцев. Хотя брата отравили хлором, змеиное слово «иприт» вползло в меня.

Сидя в гостиной у растопленного камина, Василий пил чай с пирожными и рассказывал о том, как бежал от облака хлора, как убил восемь немцев из пулемета, как одним снарядом разорвало на куски двух его фронтовых друзей – прапорщика Николаева и вольноопределяющегося Гвишиани, как бесшумно снимают часовых волосяной веревкой «цыганская невеста», как бороться со вшами и с танками, какие у немцев *капитальные* огнеметы и какое множество русских трупов лежало в огромном пшеничном поле после Брусиловского прорыва.

– Лежат ровными рядами, словно нарочно подравняли. Шли на пулеметные гнезда. Их и косили, как пшеницу.

Мы слушали, затаив дыхание. Стакан с чаем дрожал в желтой руке Василия. Он постоянно коротко подкашливал, глаза его слезились и были теперь всегда красные, словно он только что поплакал. При ходьбе Василий задыхался и, чтобы отдышаться, стоял, опершись на палку.

Отец отправил его в Пятигорск на воды.

А через год в Москве мой старший брат покончил собой, выстрелив одновременно из нагана в висок, а из дамского браунинга – в сердце. Ваня сказал, что Василий застрелился из-за замужней женщины, которую безнадежно любил еще до войны.

Отец стремительно богател и все более зависел от войны. Дела его шли в гору. У него появилось множество новых знакомых, в основном – военных. Он стал больше и чаще пить и редко бывал дома, повторяя, что теперь «живет на колесах». Вокруг него шныряли какие-то тонкоусые и энергичные молодые люди, которых он называл комиссионерами. Он *занимался* уже не только сахаром, но и многим другим. Когда он кричал в телефон, до моего уха долетали диковинные фразы: «американская резина еще возьмет нас за горло», «эшелон с сухарями преступно забыт в пакгаузах», «мерзавцы из Земгора Юго-Западного фронта режут меня без ножа», «шесть вагонов мыльной стружки застряли на узловой» и так далее.

Моя бабушка, безвыездно и тихо доживающая свой век в доме на Остоженке, как-то на Пасху сказала:

– С этой войною наш Димуленька совсем голову потерял: за семерыми зайцами гонится.

И отец в то время действительно напоминал мне человека, мучительно и безнадежно гонящегося за чем-то вертким и ускользающим. Причем сам он от этой гонки не становился живее, наоборот, как-то окостеневал, а его малоподвижное лицо хмурилось все сильнее. Похоже, он вообще перестал спать. Глаза его лихорадочно блестели и бегали, даже когда он пил с нами чай.

Минул еще год.

И война вообще полезла во все щели. Она выползла на улицы. В городах маршировали колонны солдат, на вокзалах в поезда грузили пушки и лошадей. Мы с мамой перестали бывать в Басанцах – там было «неспокойно». Вся наша семья поселилась в Петербурге. Родственников оставили в имениях. Столица военного времени открыла мне три новых слова: безработица, стачка и бойкот. Для меня они воплощались в темных толпах людей на улицах Петербурга, которые мрачновато брели куда-то и мимо которых мы старались побыстрее проехать на лихаче или на автомобиле.

Петербург стали называть Петроградом.

В газетах про немцев писали злые стихи и рисовали карикатуры. Ваня с Ильей любили зачитывать их вслух. Все немцы для меня делились тогда на два типа: один – пузатый, с мясисто-хохочущей мордой, в рогатой каске, с саблей в руке; другой – худой, как палка, в фуражке, с моноклем, стеклом и с кисло-презрительным выражением узкого лица.

Старшая сестра Ариша принесла из гимназии патриотическую песню. Оказывается, на уроке пения они всем классом сочинили музыку к стихам некоего провинциального учителя:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С германской силой темною,
С тевтонскою ордой!

Настя с Аришей аккомпанировали в четыре руки, а я с удовольствием пел, стоя на стуле.

Переехав в большой город, я заметил, что в нем все происходит быстрее, чем в Басанцах или Васкелово: люди двигались и говорили быстрее, извозчики мчались и кричали, автомобили гудели и тархтели, гимназисты спешили в гимназии, газетчики орали про «наши потери», отец входил в квартиру, сбрасывая шубу, торопливо ел, запирался в кабинете со своим помощником, потом уносился на автомобиле с комиссионерами и исчезал на неделю. Мама тоже двигалась гораздо быстрее, куда-то ездила и что-то покупала. Мы часто и быстро ходили в гости. У меня появилось много новых друзей – мальчиков и девочек.

Меня усиленно готовили в гимназию: я занимался с Диденко русским языком и арифметикой, а с Madam Panaget – французским и немецким. И занятия шли гораздо быстрее, чем прежде.

Даже оба наших мопса, Кайзер и Шустрик, теперь быстрее бегали, громче лаяли и чаще какали на ковер.

Рождество 1917 года мы праздновали в большом доме новых папиных друзей. Отец к тому времени вдруг резко прекратил все поездки и целиком отдался новому грозному слову, которое, как могучая метла, вымела из нашего дома «эшелоны колотого рафинада» и «вагоны с мыльной стружкой». Слово это было «Дума». Оно, словно толстый Пацюк из рождественской сказки Гоголя, вошло в нашу гостиную и надолго расселось там. Вместе с ним стали приходиться и допоздна рассиживаться новые папины друзья. Почти все они внешне были одинаковые и сильно отличались от высокого и сухопарого папы: малорослые, подвижные, крепкотелые, с широкими бритыми затылками, подстриженными бородами и подвитыми усами, они много курили и непрерывно спорили. Потом, наспорившись и накурившись до хрипоты, они что-то писали, одновременно диктуя сами себе, затем пили с папой вино и ехали ужинать к Эрнесту или к новому Донону. Отец теперь был занят только политикой, ходил на заседания могучей и неведомой мне Думы и в разговорах с матушкой часто говорил о каком-то нарыве, который «вот-вот прорвется» и что «надо не упустить момент».

После начала войны самым близким папиным другом в Петрограде стал банкир Рябов. Он тоже был в Думе.

У него была одиннадцатилетняя дочь Ника, в которую я впервые в жизни влюбился. На том рождественском утреннике мы, дети, разыграли вертеп. Старший сын Рябовых Рюрик был Иродом, Настя – ангелом благой вести, Ваня, Илья и Ариша – волхвами, Василиса – Богородицей, какой-то гимназист-переросток – Иосифом. Малоизвестные дети играли ангелов, чертей и избиваемых младенцев. Мы же с Никой исполняли по две роли: сперва солдат Ирода, ищущих младенца, а потом – ослика и вола, согревающих в яслях младенца Христа своим дыханием. Христом-младенцем был младший сын Рябовых, пятилетний Ванюша. Когда во втором действии он благополучно родился и мы с Никой, нацепив коровью и ослиную морды из папьемаше, с готовностью сунулись согревать его дыханием, Ванюша разрыдался. Мы переглянулись сквозь свои картонные глаза и тихо прыснули. Черный, весело блестящий глаз Ники в обрамлении огромных ослиных ресниц, ее тихий смех и запах каких-то приторных духов вызвали у меня неожиданный прилив нежности. Я взял ее влажную руку и не отпускал до конца лицедейства.

За обедом я сел рядом с ней, оттеснив какую-то девочку. Чувство мое к Нике нарастало с каждым подаваемым блюдом. Я болтал с ней, неся чепуху. На блинах с икрой я нервно-весело ущипнул ее за локоть, на чаем с бисквитами взял ее палец и ткнул в свою розеточку с абрикосовым вареньем.

Ника смеялась.

И в этом смехе было понимание меня. Видимо, я ей тоже понравился. После обеда был устроен детский маскарад с танцами вокруг елки. А когда мужчины отправились наверх курить и играть в карты, а дамы – обмениваться новостями на веранде в зимнем саду, детям было предложено сыграть в шарады. Две милые гувернантки-англичанки помогали нам.

– Чтоу телать этому фанту? – старательно выговаривала русские слова рыжеволосая и ужасно веснушчатая гувернантка, вынимая из оклеенной звездами коробки бумажки с нашими именами.

– Лаять на Нику! – кричал я громче других.

На нее лаяли, прыскали водой, ее возили на себе вокруг елки...

Ника смеялась мне черными глазами. Мне ужасно захотелось сделать с ней что-то такое, чтобы все вокруг исчезло. Но сцена, подсмотренная мною в шалаше, к этому не имела никакого

отношения. Как более старшая, Ника поняла меня. Она вдруг пожелала сменить маску волка на маску Бабы-яги.

– Саша, пойдем, ты pomoжeшь мне. – Она побежала по лестнице наверх, в свою комнату.

Там, не обращая на меня внимания, но пылая лицом от волнения, она кинулась на колени перед звездно-фиолетовым мешком с масками и стала в нем яростно рыться:

– Где же она... Oh... mon Dieu! Вот же!

Я опустился на колени рядом с ней, сильно обнял за шею, притянул и поцеловал в щеку.

– Саша, ты такой смешной... – пробормотала она, глядя на носатую маску.

Я снова поцеловал ее. Сердце мое трепетало. Она повернулась ко мне, закрыла глаза и прижалась своим лицом к моему. Мы замерли. И я впервые почувствовал, что время может стоять на месте.

– Это кто здесь прячется? – раздался притворный голос и громкий шелест платьев.

И ненавистное время пошло. А вместе с ним в комнату – хозяйка дома и какая-то дама с зеленым веером. Я не успел разжать объятия.

– Они амурничают! – восторженно ахнула дама и навела на нас лорнетку. – Нина Павловна, ты только посмотри! Какая прелесть!

Но некрасивая и неразговорчивая мать Ники была явно недовольна. Она внимательно посмотрела на нас – раскрасневшихся и прижавшихся друг к другу.

– Надевайте маски. И ступайте вниз, – произнесла она.

И мы, нацепив маски тигра и Бабы-яги, побежали вниз.

Нина Павловна ничего не сказала моим родителям. Но сделала все, чтобы мы с Никой больше не виделись. Мои просьбы «непременно поехать к Нике» кончались ничем: Ника то «неважно себя чувствовала», то «гостила у родственников», то (несмотря на рождественские каникулы!!) «усиленно занималась арифметикой».

Полтора месяца неосуществленного желания видеть мою черноокую любовь свалили меня в горячку. Трое суток с высокой температурой я лежал и бредил, проваливаясь в грозные цветные сны и выныривая из них в прохладные руки матери, кладущие мне на лоб влажное полотенце, пропитанное водой и уксусом, и подносящие чашку с клюквенным морсом. В тех снах я ни разу не увидел моей Горы. Мне мерещилось человеческое море, безбрежный океан голосов, лиц, платьев и фраков, кативший на меня мощные волны. Я тонул в них, барахтался, силясь выплыть, но меня снова и снова накрывало с головой. Я знал, что где-то рядом здесь же барахтается Ника. Но чем сильнее я искал ее в водоворотах шуршащих платьями взрослых, тем яростней меня мотало и отбрасывало в бесконечные анфилады комнат, в прокуренные гостиные, в душные спальни. Голова моя лопалась от голосов. Наконец я прорывался к ней и видел мою любовь в ее белом платье с маской Бабы-яги на лице. Я подбегал к ней, хватался за бесконечно длинный, бугристый нос маски, срывал. Но под картонной маской оказывалась Ника с живой ослиной головой. Она жевала что-то и в упор смотрела на меня ослиными глазами. И я пробуждался с криком.

Очнулся я на четвертые сутки.

Ни мамы, ни няньки не было рядом. Я поднял голову: шторы глухо сдвинуты, но в щели виден дневной свет. Я встал с кровати. Кружилась голова от слабости. Пошатываясь, в ночной рубашке до пят, я подошел к двери, открыл и зажмурился: наша огромная квартира была залита солнечным светом. Он проистекал из гостиной. Я направился туда, шлепая босыми ступнями по прохладному паркету. В гостиной, спинами ко мне, стояла наша семья. Окна были распахнуты, из них ослепительно било весеннее солнце. И все стоящие смотрели в окна. Я подошел к маме. Она схватила меня, поцеловала, как-то истерично обняла и подняла на руки. В окне была видна наша Миллионная улица. По обыкновению тихая и почти пустая, она вся была затоплена людьми. Толпа колыхалась, шумела и ползла куда-то. В толпе мелькали красные лоскуты.

– Что это, мама? – спросил я.

– Это революция, сынок, – ответила мать.

Потом в семье шутили: Саша проспал русскую революцию.

Революция

О ней говорили давно. Для меня же она случилась не в тот солнечный февральский день, а раньше, зимним вечером. Мы с Madam Panaget раскрашивали контурные картинки, потом я немного побренчал на рояле и выпил молока с любимым печеньем «Ciu». После чего нужно было прочесть маме молитву на сон грядущий и пойти спать. Но тут возник отец и, не раздеваясь, подошел к маме.

– Все, Думы больше нет, – угрюмо сказал он.

Мама молча встала.

– Милюков и Родзянко своего добились, – отец сбросил шубу на руки горничной и устало опустился в кресло, – угробили Думу. Мерзавцы. Угробили-таки. Похоронили.

Он стукнул кулаком по подлокотнику.

Я похолодел: Дума, этот невидимый и могучий Пацюк, два года проживший с нами, убита и закопана.

– Что же будет, Дима? – спросила мама.

– Революция! – мрачно, но с какой-то злой гордостью потрянул головой отец.

И я, восьмилетний, вдруг представил ее, эту таинственно-грозную Революцию в образе Снежной королевы, держащей в руках почему-то все тот же «съедаемый тараканами» серп.

Если до революции в Петрограде все двигалось и жило быстрее обычного, то теперь все просто замелькало. И людей сразу прибавилось. Улицы были почти всегда полны. По ним стало трудно проехать не только на автомобиле, но и на извозчике. Я узнал новые слова: «совдеп», «революционные массы», «временное правительство» и «хвост». Неведомый «совдеп», со слов отца, засел в Таврическом и первым делом выпил все вино и украл серебряные ложки из ресторана. Революционные массы часто проплывали под нашими окнами, о временном правительстве непрерывно говорили все, даже кухарки, а хвосты за хлебом росли и росли. Я не мог понять: почему люди стоят за хлебом в очереди? Объяснение взрослых, что хлеба не хватает на всех, меня не удовлетворяло: ведь пшеницы всегда так много, хлебные поля на Украине такие бескрайние! Я был уверен, что хлеб бесконечен, как и вода, как и небо. У нас за обедом хлеб всегда оставался.

И мне странно было слышать на улицах: «Подайте на хлеб!»

Лето 1917 года мы провели в Васкелово. Оно было каким-то удивительно красивым, спокойным и долгим. Никогда прежде летом мне не было так хорошо и вольготно. Я словно прощался с прежней, благополучной и беззаботной жизнью. И эта жизнь, уходя навсегда, прощалась со мной огромными темными елями, неподвижным озером, лесными ягодами, послеобеденным сном на веранде, невинным смехом сестер, стеклянными звуками рояля, радугой после дождя.

В конце лета я пошел в гимназию. Вернее – меня отвез туда шофер со смешной фамилией Кудлач на синем автомобиле. И возил каждый день. В той гимназии на Крюковом канале в основном учились дети богатых. Многих подвозили на автомобилях. Но не до самой гимназии – это считалось *неуместным*. Машины тормозили неподалеку от гимназии, мы выходили и шли пешком. Так было принято.

Мне было интересно на уроках. В гимназии преподавали люди, не похожие на невзрачного Диденко и тихую Madam Panaget. Они умели хорошо и долго говорить. Особенно мне нравились неизменно веселый математик Терентий Валентинович, маленький, но невероятно активный физкультурник мсье Жакоб, прозванный Карманным Бонапартом, и громкая, всегда сильно пахнущая розовым маслом француженка Екатерина Самуиловна Бабицкая. Директор гимназии Казимир Ефимович Кребс, мужчина огромного роста, с громадной головой, густой

бородой, трехпалой левой рукой и глухим рокочущим басом, прозванный гимназистами Навуходоносором, вызывал у меня чувство восторженного страха.

Но не прошло и трех месяцев моей гимназической жизни, как грянула еще одна революция. Отец назвал ее «большевистская смута». И пообещал, что «долго эта сволочь не продержится».

В этом он сильно ошибся.

Во вторую революцию все было по-другому: по улицам бегали, скакали на лошадях и проезжали на грузовиках только солдаты в шинелях и матросы. И все они были с винтовками. Горожане перемещались осторожно, стараясь держаться поближе к домам. Ночью были слышны выстрелы.

Затем время как-то *сжалось*. И полетело так быстро, что все вообще перепуталось и замелькало: люди, события, времена года.

Несмотря на «большевистскую смуту», занятия в гимназии шли до весны 1918 года. И прекратились по весьма простой причине: большая часть учеников побежала вместе со своими богатыми родителями из Петербурга. И из России.

Семья наша созрела для бегства к июлю. В ней произошли изменения: Илья, увлекшийся марксизмом еще в гимназии, сделался красным и ушел к большевикам. С отцом он порвал. Маме же передал с кем-то пару писем, в которых писал, что воюет за свободную Россию. Затем Илья исчез навсегда. Василиса стремительно вышла замуж за молчаливого и горбоносого поручика, демобилизовавшегося по ранению (в левое колено), и так же стремительно уехала с ним в Крым к его матери.

Отец, потерявший в России все, сперва намеревался вывезти нас в Варшаву. Там у него «было что-то небольшое», я так и не понял что – дом или дело. Затем он собирался отправиться дальше – в Цюрих, где «что-то лежало». В Швейцарию с семьей перебрался и банкир Рябов, еще до обеих революций приобретший там дом. Летом 1918 года путь в Европу лежал через Киев. Человек с маленькими усами по фамилии Дымбинский взялся переправить в Варшаву сначала маму с сестрами, потом отца со мною и Ваней. Отцу понадобилось еще пару недель, чтобы «утрясти делишки в Питере». Эти две недели стали для семьи роковыми. Едва мама с Настей и Аришей уехали, заболел брюшным тифом брат Ваня. Месяц он пролежал, но, к счастью, поправился, хотя сильно исхудал и пожелтел. Потом отца забрали в ЧК. Три месяца от него не было вестей. Набожная тетя Флора, мамина сестра, взявшая нас с Иваном к себе на Мойку, каждый день молилась за нашего арестованного отца. И чудо свершилось – его выпустили. Из ЧК он вернулся сильно поседевшим и ссутулившимся. Но сказал, что в тюрьме за три месяца его никто ни разу не ударил по лицу.

Так что в Киеве мы оказались только зимой. Поселились в Липках, богатом и ухоженном районе, в большой квартире папиного брата. Дядя Юрий, абсолютный антипод отца, увлекающийся, взбалмошный и громкоголосый, никуда не собиравшийся уезжать из родного Киева, принял нас так, словно никакой революции и войны не было вовсе. Стол у него дома ломился от жирной украинской еды, чисто одетая прислуга подавала шампанское, а дядя, слегка поседевший и похудевший, что-то бурно рассказывал и пил за здоровье неведомого мне Гетмана. После сурового Петербурга с его хлебными хвостами изобильный стол дяди казался невероятным. Но самым невероятным оказалось то, что мама и сестры, погостив у дяди Юрия, в начале ноября отправились в Варшаву. Но доехали ли они туда – никто не знал. Зато все знали, что в Варшаве тоже революция и Пилсудский объявил независимость. Отец был взбешен: он кричал на дядю, называя его «мокрым пентюхом», и топал ногами. Дядя Юрий успокаивал его как мог. Он давал обе руки на отсечение, что мама и сестры живы и в безопасности. Дядя Юрий был любимцем нас, детей. Своих у него не было, он жил неисправимым холостяком. Нас он обожал до слез. Мы же по-детски любили его как сверстника-переростка. Еще давно Ваня с Ильей придумали ему сложное прозвище. Оно выскакивало у дяди изо рта каждый раз, когда

он оказывался у нас в Петербурге. Любитель ресторанов и кафе-штанов, дядя в первый же вечер неизменно требовал отца отправиться с ним «куда-нибудь». Отец же, знавший *чем* кончаются эти походы «куда-нибудь», неизменно цедил, что «теперь и пойти-то некуда». На что дядя, откинув назад красивую голову, укоризненно разводил длинными, как и у отца, руками и начинал загибать пальцы:

– Помилуй, Дима! У вас тут Эрнест, Кюба и два Донона!

Это были названия четырех самых роскошных ресторанов. После чего отец и дядя исчезали до утра. Так дядя Юрий для нас стал Эрнесткюбаидвадонон. Когда его коляска въезжала в ворота северного имения, мы с Настенькой неслись по комнатам с криком:

– Эрнесткюбаидвадонон приехал!

Угощая нас, дядя уверял, что мы на днях отправимся в Варшаву. Дымбинский шнырял по городу, добывая какие-то «чертовски важные бумаги». Это тянулось несколько недель: дядя ждал помощи от его друзей немцев. Но немцы вдруг покинули Киев, даже не уведомив дядю. И как-то очень быстро к Киеву подошел Петлюра со своей «дикой первобытной ордой». О нем заговорили с ужасом. Петлюра входил в город, чтобы «перевешать офицеров, жидов и москалей». Он был украинец. И как поговаривали, в живых оставлял только украинцев. Его я представлял колдуном из «Страшной мести» Гоголя, самой жуткой сказки на свете. Как только немцы убежали, исчез Дымбинский. А веселый и самоуверенный дядя впал в панику. Он тряс отца за плечи и кричал, что «надобно бежать из Липок что есть мочи». Он был уверен, что петлюровцы придут грабить именно сюда, в самый богатый район. Отец стал ответно кричать, что он умеет стрелять. Но вскоре махнул на дядю длинной рукой и стал паковать вещи. Поутру мы выехали из Липок на двух колясках. В первой сидели мы с отцом, во второй – Эрнесткюбаидвадонон с грудой вещей и своим старым слугой Савелием. Было слегка морозно. И несмотря на декабрь, снега выпало совсем мало. Но после бессонной ночи сборов и криков меня сильно знобило и *ужасно* хотелось спать. Я дремал в коляске, привалившись к отцу и сжимая в руках жестяную коробку из-под печенья «Сiu». В ней хранилось все мое богатство, россыпь любимых вещей – от набора карандашей и швейцарского перочинного ножичка до оловянного пугача с коробкой пистонов. Дважды мы останавливались, и я просыпался: первый раз к дяде под села маленькая, полненькая и сильно взволнованная дама с двумя саквояжами, второй раз на какой-то ужасно горбатой улице к нам в коляску втиснулся Дымбинский с забинтованной рукой, с портфелем, в сером летнем пальто и мохнатой бараньей шапке. Он отдал отцу портфель и что-то сипло и обстоятельно забормотал про какую-то Пуше-Водицу и какие-то казармы. Его глаза были красные, а мохнатая шапка дохнула на меня глубоким сном. Я снова задремал. И открыл глаза от звука близкого грома. Обе подводы стояли на улице с одноэтажными домиками, окруженными слегка заснеженными садами. Толстая рыжеволосая баба в ночной сорочке с полупраспущенной косой торопливо закрывала ставни. Снова громыхнуло, поближе.

– Шесть дюймов. Не меньше, – сказал Дымбинский и стукнул извозчика по спине. – Сворачивай!

В его руке вдруг появился большой черный маузер. Извозчик, чертыхаясь, свернул в проулок. Вдали по проулку убежали трое в шинелях. Где-то за домами затрещали выстрелы. И ударил пулемет. Дама во второй коляске вскрикнула и стала часто, как-то *по-мышинному* креститься. Дымбинский выругался по-польски. Отец прикрикнул на извозчика. Меня сильно зазнобило, я зевнул со стоном, во весь рот. И вдруг грохнуло совсем рядом. И зазвенели стекла в домах. И лошадь всхрапнула и дернула. И моя жестяная коробка с *дорогим* выскользнула из рук. И покатила по дорожной наледи.

Обе коляски встали. Отец, дядя и Дымбинский закричали на извозчиков. Те, не понимая, куда ехать, натягивали поводья. Лошади храпели и пятились. А я смотрел, как катится моя жестянка. Лимонно-желтым колесиком она катилась, катилась и катилась, вниз, вниз, вниз – по горбтому переулку. Катилась, катилась, катилась до слез, до рези в глазах. И в ней, как

в жестяном барабане, кувыркался оловянный пугач. И вдруг как по команде и совершенно неожиданно для себя я выпрыгнул из колышущейся коляски и кинулся за жестяной.

– Александр, назад! Сейчас же вер... – закричал отец.

И его голос *навсегда* потонул в ужасном грохоте. Этот грохот проглотил все голоса в колясках. Грохотом меня толкнуло в спину так, словно я ковер. И грохот, как великан, выбил из меня пыль одним ударом. И я *провалился*.

Потом я открыл глаза. И увидел совсем близко лед, испачканный конским навозом. Лед был прямо возле моего носа. Я хотел приподняться, но не мог. Непонятно, что мешало мне. И я *ничего* не слышал. Я оперся руками о лед. И с огромным трудом приподнял голову. Впереди был пустой проулок. И посреди обледенелой дороги лежала моя желтая жестянка. Я сразу понял, что *главное* — сзади. И стал поворачивать одеревеневшую шею. Она *очень* плохо поворачивалась. Но все же повернулась.

И я увидел: дым, перевернутые коляски, лежащих людей, бьющуюся на боку лошадь с вылезшими кишками. И черную землю на льду. И еще что-то черное, что лежало совсем рядом со мной. Я скосил на это глаза. Это была нога в черном ботинке. И с полосатым серо-синим шерстяным носком. С модным американским носком. Носком Эрнесткюбаидвадонона. Из носка торчала розовая нога. И из ноги торчало. Что-то.

У меня теплое протекло по губам. Я потрогал их. И посмотрел на руку. Рука была в крови. Я понял, что надо вставать и идти к папе. Потому что он звал меня. С трудом я подтянул под себя ноги и встал на колени. И тут же вокруг меня запустили карусель. И все – дым, дом, баба в окне, земля, нога, лошадь с кишками, дым, дом, баба в окне, – поехало, поехало, поехало. Слева-направо. Слева-направо. Слева-направо.

И я упал на лед.

Дорога

12 декабря 1918 года в Киеве кончилось мое детство. Его выбил из меня разорвавшийся шестидюймовый снаряд, унесший жизни отца, брата Вани, дяди Юрия. Так же погиб один из извозчиков. Слугу Савелия и другого извозчика ранило, но они выжили. Дымбинский исчез. Любовница дяди, вдова штабс-капитана царской армии Лидия Васильевна Белкина, так же, как и я, была сильно контужена. Нас с ней подобрала и оттащила к себе в дом та самая толстая рыжая баба, что закрывала ставни. Три месяца я ничего не слышал. И не мог ходить: голова кружилась, и я сразу садился на пол и закрывал глаза. Удобнее всего мне было сидеть на полу и смотреть в него. За эти три месяца я досконально изучил три пола: глинобитный, устеленный домоткаными пестрыми ковриками, паркетный, покрытый огромным персидским ковром, и вагонный, заплесанный, усыпанный окурками. Вагонный пол качался.

Белкина сказала мне, что моих родных похоронили на Байковском кладбище. Она же помогла отправить меня с ее кузиной в Москву. Но туда я не доехал. Поезд остановили вооруженные люди на лошадях. И он пошел совсем в другом направлении. Я оказался сначала в Полтаве, потом в Харькове. Потом в Курске. Потом в Рыльске. Потом были: станция Красное, Моршанск, деревня Голубино, Серпухов, село Пехтерево, Подольск.

До Москвы я добрался только 2 августа 1922 года. За это время я вырос. Взрыв выбил из меня не только детство. Но и что-то еще. Он словно отрезал от меня прошлое. А вместе с прошлым – любовь к нему. За четыре года скитаний я ни разу не плакал о моем погибшем отце. Мать я вспоминал часто, думал о ней. Но у меня и в мыслях не было стремиться к ней, искать ее. Она стала *недостижимой* не только в окружающем мире. Но и во мне самом. Лишь горбатая Настенька, моя любимая сестра, дотягивалась из отрезанного взрывом прошлого, являлась по ночам, подолгу застревая в мучительных снах о родном и потерянном. И я просыпался в слезах.

Все четыре года я куда-то постоянно ехал, ехал и ехал. Одна большая и бесконечная дорога стелилась под ноги и тянула, вырывая из очередного уюта, обещая и угрожая, пугая и успокаивая. Я не понимал, *куда* я еду и *зачем*. Но меня везли. Ни разу я не был один, ни разу не страдал от голода, ни разу не ночевал под забором или в стогу сена. Меня ни разу не ограбили, не ударили кулаком в лицо, не пырнули ножом. Обо мне заботились. Меня передавали с рук на руки, словно дорогую вещь, навсегда потерянную хозяином. Которую *почему-то* непременно нужно сохранить. Во всем этом было какое-то чудо. Мамины приживалы, безнадежно дальние родственники, шапочные и деловые знакомые отца, сослуживцы покойного Василия, учителя сестер и, наконец, просто посторонние люди удивительнейшим образом оказывались в нужном месте в нужное время, чтобы помочь «сыну Снегирева». Одни ссаживали меня с переполненного поезда, другие случайно встречали на перроне, третьи окликали на улице, четвертые устраивали на ночлег. Совпадения стали нормой. И я перестал им удивляться. Я просто ехал. Но не знал, куда я еду и зачем. Оказываясь в очередном городе, городишке или поселке, я сразу понимал, что не останусь здесь навсегда. Хотя чувство родного дома взрыв также выбил из меня. У меня не было больше дома. Мне некуда было стремиться. И Васкелово и Басанцы остались только в памяти. И я понимал это.

Пожив месяц или два на новом месте, у новых людей, я чувствовал, что пора ехать дальше. И произносил:

– Мне пора.

Удивительно, но слова мои действовали на очередных хозяев. Не спрашивая, *куда* я направляюсь, они тут же озадачивались, приходили в движение, что-то предпринимали, кому-то посылали записки, с кем-то договаривались, и через сутки-другие я уже катил в поезде или тащился с обозом туда, где меня ждали.

Дорога вела меня.

Четыре года я добирался до Москвы.

За это время многое произошло. Большевики окончательно победили. Война окончилась.

Россия стала красной.

Петроград

Оказавшись в Москве, я отправился на Остоженку, в уютный деревянный дом бабушки. Но бабушки там уже не было. В доме проживали девять семей рабочих. Женщина, стирающая белье во дворе, сказала мне, что «старушка умерла, как только дом уплотнили». Случилось это год назад.

В Москве я никого не знал.

В Петрограде осталась тетя Флора. На товарном поезде я добрался до Питера и нашел квартиру тети на Мойке. Тетя Флора была жива. Хотя и резко постарела. Она не сразу узнала меня. И сильно испугалась, когда я вошел. Ей показалось, что перед ней мой покойный брат Василий. Потом она плакала и пыталась целовать меня в макушку, как в детстве. Но я вырос. И у нее не очень получалось. Я рассказал ей все. Она крестилась и плакала. И снова пыталась целовать меня в макушку. Я наклонялся.

Тетушка рассказала мне, что двоих наших родственников расстреляли, один уехал в Париж, а ее родная сестра пропала без вести во время Гражданской войны. Имение в Васкелово стало школой-интернатом для беспризорных детей. Про имение в Басанцах она слышала, что его сожгли. Я тоже слышал это в Харькове. Нашу квартиру на Миллионной занял райжилотдел.

Четырехкомнатную квартиру тетушки тоже уплотнили, подселив четыре семьи. Одинокая тетя как вдова буржуа занимала бывшую кладовую. В этой полутемной комнатухе стояли железная кровать, комод красного дерева, швейная машина «Зингер» да несколько икон. Тетушка вытащила из-под кровати сложенный персидский ковер, лежавший раньше в гостиной, водрузила на него одну из своих больших, расшитых подушек и произнесла:

– В тесноте, Сашуленька, да не в обиде. Обживайся!

На этом сложенном ковре, у двери я и обосновался.

Тетушка Флора люто ненавидела большевиков, считая их слугами Антихриста. Жизнь ее была тесно связана с церковью. Бездетная, рано овдовевшая, тетушка проводила в ней большую часть своего времени. Но постричься в монахини, как сделали многие ее набожные подруги после победы большевиков, она не хотела. На пропитание она зарабатывала пошивом одежды да изредка продавала то небольшое, что осталось от прежней благополучной жизни. Главные фамильные драгоценности у нее конфисковали при обыске.

Первым делом тетушка сшила мне рубашку и брюки. Во время работы она прочла мне наставление на будущее: я должен окончить гимназию, поступить в университет и получить высшее образование.

– Пока молод – заполняй голову! – повторяла она, качая маленькой, но сильной ногой педаль швейной машины.

Придя в свою гимназию на Крюковом канале, я обнаружил, что она переименована в школу имени Герцена. Из прежних учителей в ней осталась только немка Виолетта Николаевна Кнорре. А из моего класса продолжали учебу лишь двое – толстый увалень Штюмер да насмешливый и вертлявый коротышка Яновский. Директором стал Борис Иванович Дьяков, типичный русский интеллигент, навсегда полюбивший революцию. Пройдя с ним собеседование, я был зачислен в пятый класс. Восьмого сентября начались занятия, и директор, преподававший историю, рассказал нам, торжественно поблескивая пенсне, как он дважды разговаривал с Лениным.

В этой школе я проучился три года. Поначалу мне нравилось узнавать новое, и я быстро наверстывал упущенное. Школа была прогрессивной: мы не писали классных и домашних работ. Учителя, приглашенные Дьяковым, были настоящими энтузиастами своего дела, они жили только школой, возили нас на экскурсии, играли с нами в лапту и в хэндбол, устраивали диспуты, а зимой, когда школу не отапливали, делились одеждой. Почти все они поддерживали

большевиков. Только хмурый и задумчивый учитель рисования был убежденным анархистом и частенько повторял, что Ленин и Троцкий реставрируют государственную машину подавления личности.

В школе имени Герцена я выбрал себе профессию. Вернее – она выбрала меня. Дело в том, что после того рокового взрыва во мне открылась одна способность. Лежа контуженным в кровати и ничего не слыша, я развлекал себя тем, что считал окружающие предметы. Сначала я просто пересчитал их. Затем стал считать их углы. И вдруг обнаружил, что это очень легко. Обсчитывая японскую этажерку покойного Эрнесткюбаидвадонона, наполовину заслоненную шторой, я легко представил ее всю в пространстве и сосчитал число углов: 46. Потом я обсчитал дядин письменный стол: 28. Потом выглядывающую из гостиной люстру с восьмигранными хрустальными подвесками: 226. Так постепенно я обсчитал все углы в дядиной квартире. Их оказалось 822. На этом я успокоился. И, поправившись, совершенно забыл свое необычное занятие.

Но когда нам стали преподавать геометрию, я вспомнил его. С геометрией у меня все было хорошо. Даже не хорошо, а, по словам учителя Георгия Владимировича, «просто исключительно». Я легко решал все задачи, с ходу строил сечения, видел и понимал то, что с трудом давалось другим. К тому же я очень быстро считал. Математика после взрыва стала для меня понятной стихией. Но не могу сказать, что и геометрия, и математика волновали и притягивали меня. Впрочем, другие предметы тоже: я был равнодушен к истории, зоологии, литературе. Рисование и пение мне казалось бессмысленным занятием. Русский язык я постигал с трудом. А французский – просто знал с детства. Меня *смутно* волновала только астрономия. Даже не астрономия, а сами небесные тела, висящие в пространстве. Представляя Вселенную, я словно *терял себя*. И сердце мое начинало тяжело биться. Но астрономию нам не преподавали. А математика с геометрией мне просто легко давались. Это и определило цель.

– Снегирев, только в точные науки! О другом не помышляйте! – категорически тряс козлиной бородой Георгий Владимирович.

Я стал готовиться к поступлению в университет. Директор помог мне пройти экстерном четыре класса, и в семнадцать лет я получил диплом о среднем образовании. И поступил довольно легко на физико-математический факультет. Но уже на первом курсе, сидя на лекции по высшей математике, я понял, что мир чисел, теорем и уравнений совершенно не интересует меня. Впрочем, как и физика. Начертательная геометрия была мне понятна еще в десятом классе, в ней, как и в математике, не было никаких притягательных тайн. Я откровенно скучал на занятиях, погружаясь в свои мысли. Но мысли эти не были продуктивными. На меня нападало некое *внутреннее оцепенение*, и я погружался в него, как в теплую приятную ванну. Надо сказать, что взрыв не только отделил от меня прошлое. Он как бы *остановил* меня. До него я был живым, общительным, смешливым и непоседливым мальчиком. Я обожал болтать со всеми. И обожал движение. Усидеть минуту спокойно мне было трудно. И при этом я совершенно не задумывался. После взрыва все изменилось: я стал молчаливым, замкнутым, малоподвижным, задумчивым и необщительным. В школе у меня практически не было друзей. Девочки, севшие с нами за парты после отмены раздельного обучения, также не волновали меня. Рядом со мною сидела чернокудрая и черноглазая Рита Резникова, любившая подтрунить над моей замкнутостью и неразговорчивостью.

– Скучный ты, Снегирев, как манная каша, – говорила она.

Я лишь криво ухмылялся в ответ. Шутить и дурачиться на переменах мне было скучно. Я бродил по школьному двору, обходя шумящих и резвящихся одноклассников.

В университете общительнее я не стал. Университетская жизнь меня не интересовала. Аудитории бурлили дискуссиями, лекции перерастали в диспуты. Шла борьба между «красной» профессурой и старыми, «буржуазными» профессорами. Комитет комсомола играл в этой борьбе не последнюю роль. Комсомолыцы могли прервать лекцию профессора обвине-

нием в «скрытой контрреволюции» или «богоискательском мракобесии». В университет приглашались известные большевики для открытых диспутов. Луначарский спорил с митрополитом Введенским о существовании Бога, Зиновьев выступил с лекцией о роли комсомола в строительстве нового общества, Крупская провела диспут по женскому вопросу.

Я был далек от всего этого. После занятий я уходил бродить по городу. Домой меня не очень тянуло: там стрекотала тетушкина швейная машина да ругались соседки на коммунальной кухне. Бродя по Питеру, я трогал камни. Мне нравилось класть руки на прохладный гранит. От камней шел покой, которого не было в людях. Я прикасался к рубленным цоколям домов, гладил гладкие колонны Исаакия, трогал гривы гранитных львов, полированные пальцы ног атлантов, груди мраморных нимф и крылья мраморных ангелов. Каменные изваяния успокаивали меня.

Придя домой, я съедал скудный обед, оставленный тетушкой, и погружался в чтение книг, взятых мною в университетской библиотеке. В основном это были книги по астрономии и истории Вселенной. Меня волновали планеты и бесконечность звездного мира, окружающего Землю. Иногда я брал книги по минералогии, но не читал, а подолгу разглядывал цветные изображения камней. Я мог это делать часами, лежа на своем ковре. Книг по математике и физике я не читал вообще, довольствуясь только тем, что слышал на лекциях. Художественная литература меня также не интересовала: мир людей, их страсти и устремления – все это казалось мелким, суетливым и недолговечным. На это нельзя было *опереться* как на камень. Мир Наташи Ростовской и Андрея Болконского по сути ничем не отличался от мира моих соседей, каждый вечер бранящихся на кухне из-за примусов или помойного ведра. Мир планет и камней был богаче и интересней. Он был вечен. Из астрономического атласа я вырвал лист с изображением Сатурна и повесил на стену. Когда тетушка садилась шить, голова ее оказывалась на одном уровне с Сатурном. Но разве можно было сравнить с Сатурном голову тети Флоры, бормочущую что-то про большевиков, про обновленцев и про цены на драп и крепдешин?

В университете астрономию читали только на третьем курсе. Я стал сбегать с занятий по физике и математике и посещать лекции профессора Карлова, известного астронома, специалиста по спектральному анализу планет. Слушая его глуховатый голос, рассказывающий про звездный параллакс, спутники Марса, солнечные пятна, орбиты комет и метеоритные потоки, я закрывал глаза и забывал про все. Я проваливался и *повисал* в звездном пространстве. И это чувство оказалось сильнее всех других. Это было *ужасно* приятно. Я переставал слышать и самого Карлова. И забывал про астрономию. Я просто *висел* среди планет и звезд. Так продолжалось из месяца в месяц. На другие лекции я ходил все реже. С трудом я сдал сессию и перешел на второй курс. Летом все студенты подрабатывали. Я тоже решил помочь тетушке деньгами. Сперва меня устроили на «Красный Путиловец» подсобным рабочим, но на второй день я почувствовал сильное раздражение и угнетение от работающих станков и механизмов. Люди же, обслуживающие эти громоздкие машины, раздражали меня еще больше: в них было что-то обреченно-угрожающее. В самом заводе я чувствовал *невыносимое* уродство. Я ушел с «Красного Путиловца» и устроился мыть посуду в ресторан при игорном доме на Владимирском проспекте. Заведение содержал типичный нэпман, словно сошедший с плакатов Маяковского – толстый и с неизменной сигарой. Моя посуда, я думал о планетах и звездах. Они всегда были со мной: я следил за орбитами, наслаждался *плавным* вращением небесных тел.

В сентябре я снова отправился на лекцию Карлова. Курс астрономии длился один учебный год. В сентябре Карлов каждый раз начинал читать свой курс очередному потоку третьекурсников. Я снова с удовольствием погрузился во вводную лекцию. Закрыв глаза. И *повис*, представив громадную звезду Бетельгейзе. Аудитория № 8 стала моим вторым домом. На другие лекции я совсем перестал ходить.

И однажды, когда я *висел*, меня тронули за плечо.

– С тобой все в порядке? – спросил женский голос.

Я открыл глаза. Аудитория была уже пуста. Рядом со мной сидела девушка. Она была черненькая, с короткой стрижкой и слегка раскосыми глазами. Которые смотрели насмешливо.

– Ты что, по ночам работаешь? Не высыпaeшьсeя?

– Нет... – Я с неудовольствием расстался с *моим* оцепенением.

– Каждый раз смотрю на тебя, как ты дремлeшь на лекциях! – усмехнулась она.

– Я не дремлю, – ответил я, глядя ей в глаза.

Она перестала усмехаться:

– Ты... с какого потока?

– Я второкурсник, – ответил я.

– А почему ходишь к нам?

– Я очень люблю Вселенную, – откровенно признался я.

Она с интересом смотрела на меня. Мы познакомились. Ее звали Маша Дормидонтова. Она наблюдала за мной целый месяц. Студент, всегда сидящий на лекциях с закрытыми глазами и отрешенным лицом, заинтересовал ее. Выйдя из физико-математического корпуса, мы пошли по набережной. Маша задавала мне вопросы. Я сбивчиво отвечал. Она была бойкая, с быстрой реакцией и живым умом. Ее отец служил на флоте. Она же, учась на физика, была увлечена модной наукой – метеоритологией. Пройдясь с ней по городу и послушав ее быструю и эмоциональную речь, я сначала поверил, что ее единственная страсть – метеориты. Блестя раскосыми глазами, она воодушевленно рассказывала мне о метеоритном дожде, зодиакальном свете, железных метеоритах с видманштеттеновыми фигурами и каменных – хондритах и ахондритах. Но довольно быстро выяснилось, что за метеоритологией стоит определенный человек, «смелый, умный и решительный», который ищет теперь в Сибири самый большой метеорит. Говорила об этом человеке она с явным волнением. Его звали Леонид Кулик. Он был старшим научным сотрудником в Горном институте. Маша явно неровно к нему дышала. Я спросил о метеорите, который искал Кулик. Она сказала, что это громадный болид, упавший лет десять назад и наделавший много шума по всей Сибири. Переговариваясь, мы дошли до ее дома на Лиговке, возле Московского вокзала. Маша приветливо со мной простилась, сказав:

– До завтра!

И я побрел к себе домой на Мойку. Встреча с Машей ничего не изменила во мне. Я так же продолжал посещать лекции Карлова, проваливаться и *зависать*. Машу это интриговало. Она садилась всегда рядом со мной. Сначала она пыталась шепотом задавать мне смешные вопросы. Но я не отвечал. И она перестала. Зато после последнего слова Карлова она толкала меня в плечо, произнося:

– Finita!

И я открывал глаза.

Лекция Карлова всегда была последней. Если Маша не оставалась на факультете по комсомольским делам или не отправлялась к Кулику в Горный, я провожал ее домой. Мы шли пешком или ехали на трамвае. Я всегда провожал ее до дома. Она принимала это как должное. Ожидать от меня мужского внимания она перестала, решив, вероятно, что я «немного не в себе». Назначив меня на роль доверительного уха мужского пола, она изливала мне душу по дороге, рассказывая о сокровенном. Ей это нравилось. Но про Кулика говорила очень осторожно, всегда с волнением. Кулик на три месяца отправился в экспедицию за таинственным метеоритом. Маша «до ужаса» просилась с ним, но в экспедиции был железный закон: женщин не брать. Экспедиция метеорита не нашла. Но точно определила место и время его падения. Когда Маша показала мне вырезку из газеты со статьей Кулика «Тунгусский метеорит», я сразу увидел дату падения: 30 июня 1908 года. И вдруг вспомнил про необычный *гром*, услышанный матушкой во время родов. Я закрыл глаза. И неожиданно рассмеялся.

– Что с тобой? – спросила Маша.

– Я родился в тот самый день. 30 июня 1908 года, – ответил я.

Она была потрясена таким совпадением. И пообещала рассказать об этом Кулику. А я забыл про Тунгусский метеорит (ведь он *уже* упал!) и снова погрузился в свой родной мир Вселенной.

Зимнюю сессию я сдал с двумя «хвостами». Но меня, чудесным образом, не отчислили, а обязали пересдать физику и логику в летнюю сессию. Я смутно следил за происходящим не только в университете, но и в стране. Студенты обсуждали ссылку Троцкого в Алма-Ату, борьбу в партийном руководстве, саботаж крестьянами хлебозаготовок, а я проходил мимо или сидел с отрешенным видом. Мне было *хорошо*. У меня была точка опоры – планеты и звезды. Они были всегда со мной. И я совершенно не задумывался о будущем. Я никуда не стремился. Куда стремиться, если все уже *есть*? Я прижимался лбом к мраморному льву. И плыл по орбите Ганимеда, между Ио и Каллисто.

Но вскоре реальность напомнила о себе.

В мае, придя из университета домой, я обнаружил там чекистов. Они производили обыск в нашей комнате. Тетушки не было. Оказывается, в храме, где она прислуживала, провели изъятие церковных ценностей, во время которого тетушка выхватила у чекиста тяжелый крестильный крест и ударила его по голове. Ее арестовали. Меня отвезли в ГПУ на Гороховую и допросили. Но отпустили. Я пытался выяснить судьбу тетушки, но лишь узнал, что она в Крестах и ожидает суда. Прошел месяц. Тетушку осудили на пять лет и отправили на Соловки. Больше я ее никогда не видел.

А через пару недель после суда меня отчислили из университета. Причин было предостаточно: непролетарское происхождение, антисоветчица-тетя, неуспеваемость. И я не был комсомольцем. Секретарь комсомола нашего факультета давно уже окрестил меня «чуждым элементом».

Отчисление я воспринял спокойно. Ведь посещать лекции Карлова я мог и без студенческого билета. А две книги по астрономии я успел украсть из библиотеки. Зато Маша была сильно огорчена. Дважды она ходила к декану и в комитет комсомола, прося за меня, но безрезультатно. Мы продолжали встречаться на лекциях и гулять по городу.

Вскоре я понял, что мне нечего есть: тетушкин запас перловой крупы и льняного масла иссяк. Тогда я продал ее швейную машину. Накупив крупы, сухарей, сала, подсолнечного масла, моркови и чеснока, я наелся и спрятал провизию в комод. Наутро я отправился в университет. Но там меня ожидало то, что я упустил из виду: курс лекций по астрономии завершился. Начинались экзамены. Разочарованный, я поплелся домой. Там тоже ждала новость: в комнате сидел домоуправ. Он сказал мне, что если я не прекращу антисоветскую пропаганду, жильцы похлопочут о моем выселении. Я выслушал его молча. Он вышел, хлопнув дверью. Я понял, что, воспользовавшись моим беспомощным положением, домоуправ просто хочет отнять у меня комнату. Я взял свои две книги по астрономии и вышел на улицу. Стоял теплый и солнечный июнь. Я бесцельно побрел по городу. И почувствовал, что этот город *выталкивает* меня. Мне не оставалось в нем места. И меня ничего уже не связывало с ним. Я дошел до Невского, свернул и побрел в сторону Исаакия. Мне захотелось положить руки на его колонны. И прижаться лицом к холодному гладкому камню. Я сделал несколько шагов и столкнулся с Машей. Мы столкнулись так сильно, что книги мои упали на мостовую. А ее портфель раскрылся, и из него полезли бумаги.

– Господи... – пробормотала Маша, отпрянув и прижимая ладонь ко лбу: она ударила меня лбом в подбородок.

Я ошалело смотрел на нее. Опомнившись, она расхохоталась. Я помог ей собрать бумаги и поднял свои книги.

– С ума сойти! – она качала головой, смеясь. – Знаешь, я полчаса тому говорила о тебе.

– С кем? – спросил я.

– С Куликом. Хочешь поехать в экспедицию? У них как раз двое заболели дизентерией. А послезавтра они уже отправляются.

Я молча смотрел на нее, потирая подбородок. И вдруг в одну секунду, как тогда, после взрыва, после головокружения, после Киева и сосчитанных углов, я почувствовал, что я *в дороге*. Я снова *в дороге*. Нужно было двигаться. Дальше.

И я ответил:

– Хочу.

Экспедиция

Назавтра в 9.00 мы с Машей вошли в здание Горного института. Немного шли по полутемному коридору и остановились возле двери с новой медной табличкой «Метеоритный отдел». Табличка выглядела необычно. Маша постучала в дверь. Никто не отозвался. Она приложила к двери ухо:

– Господи, неужели он уже на заседании!

– Пока нет, но скоро непременно направится туда, – раздался за нашими спинами высокий и слегка надменный голос.

Мы обернулись. Перед нами стоял худощавый мужчина в очках и с густыми светло-русыми усами *a la* Ницше. Одет он был подчеркнуто небрежно.

– Леонид Андреич! – пролепетала Маша, и я понял, что она сильно влюблена в Кулика.

– Это ваш *protégé*? – Кулик глянул на меня своими умными, пристальными и слегка насмешливыми глазами. – Это он родился 30 июня 1908 года?

– Да... это тот самый Снегирев. Его отчислили из университета, но он... – забормотала Маша, но Кулик перебил ее:

– Это меня не интересует. Бывали прежде в экспедициях?

– Нет.

– Так... – Кулик сверлил меня взглядом. – Копать умеете?

– Ну... – замялся я.

– Таскать тяжести?

– В принципе... да.

– В принципе! В общем, так... – Кулик достал часы со стершейся позолотой, глянул, убрал. – В принципе, если что, я выгоню вас с полдороги. А теперь – ступайте за мной.

Он круто развернулся на худых ногах и размашисто пошел, почти побежал по коридору. Мы с Машей поспешили за ним. Кулик свернул раз, другой, взбежал по лестнице и исчез в распахнутой двери одной из аудиторий. Мы вбежали следом.

– Дверь на крюк! – крикнул он нам с кафедры.

Маша привычным движением замкнула дверь. Я сел с краю и вполборота осмотрелся: в просторной аудитории сидели шестнадцать человек.

Кулик достал скомканный платок и протер очки. Надел их, крепко взялся за кафедру длинными жилистыми пальцами и заговорил:

– Здравствуйте, товарищи. Итак, сегодня мы знакомимся с новоиспеченными метеорологами в лице новичков и корректируем вектор нашего движения к месту падения Тунгусского метеорита. Учитывая, что от состава прошлогодней экспедиции осталось всего лишь трое, остальных мне пришлось турнуть к свиньям собачьим, вначале я представляю каждого из вас.

Он раскрыл толстую, замусоленную тетрадь и представил собравшихся, называя фамилию и профессию каждого. Меня он не упомянул. Захлопнув тетрадь, Кулик продолжил:

– Теперь я позволю себе сделать краткое сообщение о так называемом Тунгусском метеорите, из-за которого сломано столько копий и пройдено столько километров. Итак, 30 июня 1908 года в Восточной Сибири упал громадный болид. Падение его видели и слышали сибиряки, оно наделало много шума и оставило потрясающие следы: мощнейшая звуковая волна, пронесшаяся по всей Сибири, вывал леса на площади в сотни квадратных километров, световая вспышка и землетрясение, зафиксированное нелицеприятным сейсмографом в подвале Иркутской обсерватории. Метеорит видели не только тысячи безграмотных и суеверных обитателей Восточной Сибири, но и вполне цивилизованные люди из окон поезда под Канском, с которыми я имел длительные беседы. Суммируя свидетельства очевидцев, можно было смело

констатировать: в Сибири упал громадный метеорит, вероятно, один из крупнейших, какие валились на землю. Но метеоритика двадцать лет тому назад еще не завоевала неоспоримых прав гражданства как самостоятельная наука. Метеоритами занимались не только ученые, но и откровенные проходимцы от науки, внесшие в историю Тунгусского метеорита много лжи и путаницы. К стыду отечественной науки, никто даже не попытался организовать экспедицию по горячим, в буквальном смысле слова, следам метеорита: дело кончилось десятком газетных и псевдонаучных публикаций. И лишь при советской власти ваш покорный слуга в непростом 1921 году, благодаря личной поддержке наркома Луначарского, сумел организовать первую метеоритную экспедицию. Товарищ Луначарский провел через Наркомпрос необходимую сумму денег, от НКПС направил для экспедиции вагон, а также обеспечил нас необходимым оборудованием. Присутствующий здесь Николай Савельевич Трифонов – предпоследний из могикан той легендарной экспедиции – в пути расскажет вам подробно о первом походе за тунгусским дивом. Первая экспедиция не нашла метеорит, но точно определила район его падения: бассейн Подкаменной Тунгуски, или Катанги, как называют ее эвенки. Систематизировав свидетельские показания очевидцев падения, я сделал вывод в своей статье для журнала «Мироведение»: в 1908 году в Восточной Сибири упал метеорит колоссальных размеров. К сожалению, по ряду объективных и субъективных причин, одна из которых – НЭП, следующая экспедиция смогла выехать в Сибирь из Ленинграда только в прошлом году. На этот раз нам помогли академик Вернадский и лично товарищ Бухарин. Экспедиция № 2 почти дошла до места падения метеорита. Но «почти», товарищи метеорологи, в науке не считается. Ошибка второй экспедиции была в выборе времени. Чтобы пройти по таежным болотам, мы решили отправиться на Катангу в феврале, когда лед наведет естественные переправы через топь. С одной стороны – это помогло, с другой – помешало. Лошади не смогли пройти от Ванавары до места вывала леса по оленьей тропе: снег оказался слишком велик. Договорившись с эвенками, мы вдвоем с Трифоновым поехали на оленях, отправив нытиков и паникеров назад, в Тайшет. Увы, не каждый ученый готов к испытаниям во имя науки! Через трое суток тяжелейшего пути по заснеженной тайге наш неутомимый проводник эвенк Василий Охчен вывел нас к границе вывала леса. Когда мы с Николаем Савельевичем поднялись на сопку и увидели поваленный, переломанный лес, тянущийся до самого горизонта, нам стало по-настоящему жутко и радостно: такое феноменальное разрушение тайги могло произойти только по воле огромного болида! Невероятное зрелище! Столетние лиственницы и сосны были поломаны, как карандаши! Вот какова сила падающего на землю посланца из космоса! Немудрено, что эвенки отказались идти дальше – шаманы запретили им входить в «проклятое место». У некоторых из них во время падения метеорита там погибли олени и сгорели чумы. Охчен на всю жизнь запомнил страшный грохот и огонь с неба. Да! Лес не только был повален, но и горел, опаленный сильнейшей вспышкой от взрыва. Итак, товарищи, вторая экспедиция повернула назад. Экспедиция № 3 находится сейчас в этой аудитории. И мне оч-ч-чень хочется надеяться, что ее не постигнет печальная участь второй экспедиции! Я буду и впредь беспощаден к нытикам и паникерам. Уверен, что среди вас их нет. Итак! За это время нас стало больше. Здесь присутствуют люди разных профессий: астрономы, геофизики, метеоритологи, буровики и даже кинооператор. Студенты-энтузиасты, возжелавшие идти с нами, надеюсь, в полной мере утолят свою жажду к открытиям и приключениям. Мы берем с собой солидное оборудование: аппаратуру для метеоритологических, гидрологических, геологических и фотографических работ, комплекты буров, помпу для откачки воды и различные инструменты. Теперь о маршруте....

Кулик сошел с кафедры, развернул лежащую на столе карту, повесил ее на доску и взял деревянную указку.

– Мы отправляемся завтра с Московского вокзала. Едем на поезде до Тайшета. Там нас встречают тридцать подвод, которые везут нас и оборудование по конному тракту 400 километров до поселка Кежда на реке Ангара, где мы меняем лошадей, садимся верхом и едем по

таежной тропе еще километров 200 до поселка Ванавара на самой Подкаменной Тунгуске. В этом поселке – фактория Госторга, снабжающая эвенков продовольствием, порохом и дробью в обмен на пушнину. Последний, так сказать, форпост цивилизации. Место падения метеорита находится в восьмидесяти километрах к северу от Ванавары. Туда мы и пойдем по оленьей тропе. Пройдя в зону вывала леса и определив точное место падения метеорита, мы построим там барак из леса, заблаговременно поваленного для нас метеоритом, справим новоселье и начнем свою научную деятельность. Вопросы?

Полноватый астроном Ихилевич поднял руку:

– Как долго может продлиться экспедиция?

– Коллега, не задавайте метафизических вопросов, – парировал Кулик. – Пока не найдем!

– Пока хватит продовольствия, – заулыбался невзрачный Трифонов.

– Пока мороз не ударит! – подхватил маленький и вертлявый буровик Гридюха.

Студент-энтузиаст с еле различимой бородкой сутуло приподнялся:

– Товарищ Кулик, а правда, что курящих... того... вы не берете?

– Истинная правда, молодой человек! Табачный дым не переносу. И считаю курение вреднейшей привычкой старого мира. Мы с вами строим новый мир. Так что выбирайте – табак или Тунгусский метеорит!

Все засмеялись. Студент поскреб подбородок:

– Ну, того... Метеорит.

– Прекрасный выбор, юноша! – воскликнул Кулик.

Все засмеялись еще громче.

– Ах, Боже мой... – качала головой Маша. – Как ужасно, что он не берет в экспедицию женщин. Это такая ошибка! Я бы дневник вела...

– И еще, товарищи! – посерьезнел Кулик. – Местное население, с которым нам предстоит работать, – эвенки и ангарцы, деньгам предпочитают продовольствие, а более всего – порох, дробь и спирт. Боеприпасов у нас с избытком, а вот спирта нам много не дают. Так что если каждый из вас прихватит с собой фляжку спирта, это заметно ускорит наше продвижение по тайге. Вопросы? Нет? Тогда – за дело, товарищи! Николай Савельевич проинформирует вас.

– Попрошу всех проследовать на паковку багажа, – привстал Трифонов.

Собравшиеся повставали, заговорили. Кулик снял очки и, близоруко щурясь, протирал их:

– Да! Вот еще...

Все тут же смолкли. Кулик надел очки и посмотрел на меня:

– Среди нас будет человек, родившийся в момент падения Тунгусского метеорита.

И я понял, что Кулик взял меня в экспедицию только из-за этого. Все с любопытством повернулись ко мне.

– В каком месте вы родились? – спросил Трифонов.

– В тридцати верстах к северу от Питера, – ответил я.

– Километрах, километрах, юноша! – поправил Кулик. – Гром ваша мамаша слышала при родах?

– Слышала. И не она одна, – ответил я.

– Его в тот день слышали по всей Руси, – произнес сумрачный геолог Янковский.

– А что еще вам рассказывали про день вашего рождения? Было ли еще что-нибудь необычное? – пристально смотрел на меня Кулик.

– Необычное... – Я задумался и вдруг вспомнил: – Конечно. Было. Родные говорили, что тогда совсем не было ночи. И небо сильно светилось.

– Совершенно верно! – поднял длинный палец Кулик. – Это явление было отмечено на всем побережье Балтийского моря, в северной части Европы и России – от Копенгагена до Енисейска! Аномальное свечение атмосферы!

– О чем писали Торвальд Кооль и Герман Зайдель, – закивал головой Ихилевич. – Яркие зори, массовое развитие серебристых облаков...

– Массовое развитие серебристых облаков... – громко повторил Кулик, задумался и вдруг резко ударил кулаком по кафедре. – В этот раз мы обязаны найти метеорит!

– Найдём! Никуда не денется! Для того и едем! – загалдели все.

– Саша, Саша, как это прекрасно! – Маша повернула ко мне свое покрасневшее лицо. – Найди, найди Тунгусский метеорит!

– Постараюсь, – пробормотал я без особого энтузиазма.

Мне просто хотелось куда-то ехать. Ехать и ехать, как *тогда*.

На следующий день мы отбыли поездом Ленинград – Москва – Иркутск, в котором для нас был выделен целый вагон. Четверо суток до Тайшета прошли в разговорах и спорах, в которых я был пассивным слушателем. В нашем вагоне № 12 спорили на актуальные темы: о коммунизме, о свободной любви, об индустриализации, о мировой революции, о строении атома и, конечно же, о Тунгусском метеорите. Все это сопровождалось отличным по тем временам питанием и бесконечным питьем чая с неограниченным сахаром, что мне, после полуголодной жизни, было особенно приятно. Наевшись конской колбасы, балтийской селедки, вареных яиц, хлеба с коровьим маслом и напившись крепкого чая, я залезал на верхнюю полку и в полудреме смотрел в окно, где проплывали бесконечные вологодские и вятские леса. После уральских невысоких гор их сменил ни с чем не сравнимый сибирский ландшафт, а от Челябинска до самого Новосибирска раскинулось беспредельной ширью дно древнего, по словам Кулика, моря, поросшее сосной и лиственницей. И глядя на этот простор, я засыпал.

Отношения в экспедиции сложились хорошие, все были дружны и благожелательны. Загадочный метеорит, о котором благодаря Кулику уже стали писать в советских газетах, притягивал и будоражил воображение. Мне было приятно думать о нем, лежа на верхней полке. Но я всегда представлял его еще парящим во Вселенной. Так мне было еще *приятней*. Споры о его составе, скорости и размерах шли бесконечно. Кулик заражал всех своим энтузиазмом, переходящим в фанатизм. За это ему прощались диктаторские замашки, бытовой терроризм и нетерпимость в дискуссиях. В экспедиции он принципиально говорил всем «товарищ», игнорируя имена и отчества. После победы советской власти в России его «научный марксизм» еще более укрепился. Кулик боготворил «железную последовательность Сталина» и верил в грядущий советский экономический рывок, способный «доказать всему миру диалектическую объективность нашего пути».

В Тайшет мы приехали утром.

Нас встретили мужики на добротных сибирских подводах, жаркая солнечная погода и тучи комаров. Такого количества кровососущих насекомых в воздухе я не видел прежде никогда. Всем были розданы панамы с марлевыми забралами, изготовленные по эскизу Кулика, имевшего большой опыт общения с местными комарами. В этих одинаковых серых панамы мы были похожи на китайских крестьян. Погрузившись на подводы, мы тронулись в неблизкий путь по тракту, именуемому нашими ямщиками «шоссе», – широкой, но неровной насыпной дороге. Ритвины и колдобины испещряли ее. К нашему счастью, июнь 1928 года в Восточной Сибири выдался сухим, и грязевые лужи на дороге оказались вполне преодолимыми. Зато мосты через неширокие речки почти все находились в плачевном состоянии и требовали ремонта. Некоторые из них были почти полностью разрушены весенними паводками. Приходилось объезжать их и переправляться вброд. Когда в очередной раз мы, спешившись, толкали свои подводы через шатающийся мост, Кулик цитировал какого-то французского путешественника: «...и по пути нам попадались сооружения, которые приходилось объезжать стороной и которые по-русски назывались ле мост».

Дорога пролежала через холмистую тайгу, поросшую смешанным лесом. Но вершины этих плавных холмов, называемых здесь сопками, были сплошь покрыты густым сосняком.

Эти потрясающие девственные массивы напоминали мне гривы спящих чудовищ. Стройные корабельные сосны росли невероятно густо, и когда ветер начинал качать их, они оживали, а вместе с ними и вся сопка словно просыпалась, и казалось – спящий монстр сейчас приподнимется, распрямится и огласит таежный простор могучим ревом.

Но настоящие звери, несмотря на девственность этого края, попадались нам довольно редко: кто-то видел куницу и лося.

Ехали мы крайне медленно, почти неделю, ночуя в небольших деревнях, похожих на северные русские хутора. Вокруг пяти-шести изб, рубленных из столетних сосен и обнесенных внушительным частоколом от зверей, расстилалась бесконечная тайга. Местные жители были нам всегда рады: прямодушные, закаленные суровой Сибирью, они жили в основном охотой, рыбалкой и проезжающими по «шоссе», для которых всегда стоял отдельный сруб с печкой и нарами. Мы платили им порохом и спиртом. Советские деньги здесь были еще редкостью, а сталинская программа всеобщей коллективизации пока не дотянулась до этих диких мест. Хуторяне угощали нас свежепойманной рыбой, жареными грибами, вяленой дичью и неизменной мучной похлебкой, заправленной черемшой, диким луком, сушеной морковью, чесноком и солониной из оленины или лосятины. Ночевали мы вповалку в срубах, банях, овинах и сенных сараях. А наши неприхотливые ящики ставили на ночь телеги в круг, внутрь круга заводили лошадей, разжигали снаружи круга костры и спали на телегах, накрывшись, несмотря на лето, неизменными тулупами.

На шестые сутки наш обоз прибыл в Кежму.

Крупный поселок в сотню домов стоял на высоком красивом берегу Ангары – широкой и сильной реки. Круто обрываясь, берег переходил в небольшую песчаную отмель, за которой текла эта могучая река. Вода в ней, как и во всех сибирских реках, была холодной и невероятно чистой. Противоположный лесистый берег обрывисто тянулся вдаль.

В поселке в основном жили русские, прозванные ангарцами, и редкие обрусевшие эвенки. Те и другие занимались охотой и рыбалкой. Добытая пушнина сдавалась государству за очень небольшие деньги, а рыба, лосятина и оленина надежно кормили круглый год. Домашних животных ангарцы не держали.

В Кежме для нашей экспедиции начал действовать кредит Госторга: мы получили восемь мешков вяленых щук, муксунов и пеляди, три бочки соленой нельмы, бочонок сала и пару мешков рыбной муки. Помывшись и попарившись в сибирской бане, мы отдались гостеприимству тамошнего начальника, бывшего по совместительству председателем сельсовета и хозяином Госторга. С Куликом он держался как со старым приятелем, показывал вырезку из тайшетской газеты о прошлогодней экспедиции. Больше всего начальника радовало, что мы «доперли сюда из самого Питера, где Ильич устроил буржуйам карусель». Бывший красный партизан, воевавший на Урале, после победы большевиков он был командирован ими в далекую Кежму «провести линию партии». Прибыв сюда с конным отрядом, он за три дня «окончательно и бесповоротно решил вопрос советской власти в Кежме»: расстрелял двенадцать человек.

– Теперь понимаю – надо было больше... – чистосердечно признавался он за стаканом спирта, разведенного студеной ангарской водой.

В Кежме у него было две жены – старая и новая, которые прекрасно ладили между собой и устроили для нас настоящее пиршество: длинный грубый стол в избе начальника ломился от яств. Здесь я впервые в жизни попробовал пельмени с медвежьим салом и шаньги – маленькие пшеничные лепешки, зажаренные на сковороде и политые сметаной. Про метеорит начальник знал лишь одно: «что-то там грохнуло и повалило лес». В своих напутствиях он был категоричен, советовал с эвенками не церемониться и в случае чего «бить промеж косых глаз прикладом». Неудачу прошлогодней экспедиции он списывал целиком на саботаж коренного населения и «гнилое мягкосердечие» Кулика. Эвенков он звал тунгусами и считал скрытыми врагами советской власти:

– Я поначалу-то думал, раз в тайге в чумах живут, просто едят, просто одеваются, срут на ветру – значит, за советскую власть. А оказалось – кулаки кулаками! Только и считают – у кого оленей больше. Среди них свою революцию надо делать! Своего тунгусского Ленина искать!

Кулик пытался возражать ему, говоря, что главная проблема всех отсталых народов в СССР – поголовная безграмотность, выгодная царскому режиму для эксплуатации, и что партия этим уже занялась, организуя избы-читальни и школы для туземцев, что эвенков, как и всех крестьян и животноводов, скоро начнут коллективизировать, но начальник был непреклонен:

– Андреич, была б моя воля, я бы их по-своему коллективизировал: в вагон да в город на земляные работы. Лопата перевоспитает! А оленей забил бы да голодающим Поволжья отправил.

– Голод в Поволжье победили два года назад, – с гордостью сообщил Кулик.

– Правда? – красномордо улыбался захмелевший начальник. – Ну тогда оленей сами съедим.

Наутро, переложив только необходимую провизию в рюкзаки, мы надели их, сели верхом на местных лошадей и тронулись по более узкому тракту, протоптанному оленями. До Подкаменной Тунгуски от Кежмы предстояло проехать еще 200 километров на север. Обоз с основным багажом тронулся следом.

Тракт шел через сопки. В гору мы ехали шагом, с горы – изо всех сил подгоняли наших тихоходных широкогрудых лошадей. Они тяжело трусили по долгому склону. Потом – снова подъем, и так до бесконечности.

Тайга на сопках изменилась: сосна довольно быстро уступила место лиственнице, смешанный лес сполз в долины, земля постепенно покрывалась мхом и лишайником. Стали часто попадаться звери. Их приветствовали вскриками. В чащобе взлетали дикие птицы, хлопая тяжелыми крыльями. Я видел несколько раз колонков и горностаев. Спугнутые нами, они молниеносно взбирались на лиственницы и исчезали в хвое. Среди нас было два заядлых охотника: буровик Петренко и геолог Молик. На первой же стоянке они отправились за дичью и довольно быстро вернулись с убитой глухаркой. Большую и красивую птицу ощипали, выпотрошили, разрезали на куски и сварили вместе с пшенной кашей. Но мясо ее оказалось жестким и отдавало хвоей. В первую экспедицию Кулик сделал большую ставку на местную дичь, надеясь ею подкормиться. Но ему не повезло: за все время они подстрелили только несъедобную лису и несколько уток. Первая наша ночевка в тайге была непростой: нарубив соснового лапника, мы соорудили себе постели, легли вокруг костра и попытались заснуть, накрывшись верхней одеждой. Но несмотря на теплую летнюю погоду, от каменистой и мшистой земли тянуло вечным холодом, который забирался под одежду. Сверху же нас донимали комары, не унимающиеся даже ночью. Среди комариного племени появились мелкие, проворные и неистовые особи, именуемые гнусом. Тонко, противно пища, они забирались в рукава, лезли в глаза и ноздри. Бороться с ними было невозможно. По совету Кулика мы мазали запястья и шею керосином. Вскоре экспедиция стала вонять как керосиновая лавка. Следующие три ночевки дались так же трудно: люди не высыпались, чертыхаясь и прячась от ночного холода и комаров, а днем тряслись полусонные в седлах. Но Кулик был нестигаем. Он будил нас ровно в шесть часов своим футбольным свистком, который носил в нагрудном кармане, поддерживая в экспедиции железный режим. Этим же свистком он командовал начало движения и остановку. Его главным лозунгом было: ради великой цели можно стерпеть все. В людях он превыше всего ценил волю и целеустремленность, а в материальном мире – книги. Сидя с нами у костра, он рассказал, как в ссылке ему помогла бросить курить книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление»:

– Сутки я читал, а наутро вышел из своей лачуги, подошел к проруби и высыпал туда весь годовой запас табака со словами: «Пускай теперь рыбы курят. А я – человек воли!»

Как и многие социал-демократы, ставшие большевиками, он жил будущим, свято веря в новую советскую Россию.

– Наука должна помочь революции, – повторял он.

Ленинский план ГОЭЛРО он считал гениальным и провидческим, а сталинскую программу индустриализации и коллективизации – велением времени. Но его главной страстью все-таки был Тунгусский метеорит. Заговаривая о нем, Кулик забывал про Сталина и ГОЭЛРО.

– Вы представьте себе, товарищи, кусок, отколовшийся от другой планеты, отделенной от нас миллионами километров, лежит где-то здесь, неподалеку. – Кулик делал паузу, поправлял очки, в которых отблескивало пламя костра, и слегка поднимал голову к неярким сибирским звездам. – И в нем – материя иных миров!

От этой фразы у меня мурашки пробегали по коже: родной мир планет всплывал в памяти. Засыпая на куче сосновых веток, накрывшись с головой от гнуса, я представлял этот загадочный кусок иных миров, в черном безвоздушном пространстве подлетающий к Земле и переливающийся всеми цветами радуги. Он кружился в моей голове. И проваливаясь в сон, я считал его углы...

Наконец к вечеру четвертого дня, опухшие от гнуса и разбитые от тряской езды по сопкам, мы подъехали к Ванаваре.

Десяток новых деревянных домов лепились на самом берегу Подкаменной Тунгуски: пару лет назад факторию отстроили заново. На самом солидном срубе виднелась крупная белая надпись ГОСТОРГ и висел полинялый красный флаг. Вокруг поселка расстился потрясающий по красоте ландшафт: очень высокий, круто-скалистый берег реки, приютивший факторию, со всех сторон окружала густая тайга. Противоположный южный берег, наоборот, был довольно низким, и за ним далеко-далеко, до самого горизонта зелено-голубыми волнами разбегались бесконечные сопки, залитые лучами заходящего солнца. В вечернем розовато-голубом небе с проступившей луной парили орлы. Их короткие переклики были единственными звуками, нарушающими абсолютную тишину.

Но завидя нас, залаяли собаки и вышли люди. Кулика и Трифонова встретили как родных. Для заброшенной в тайге фактории наше появление стало событием. Была срочно устроена баня, стоящая внизу на реке. Дров для нее не жалели, в парной клубился густой пар. Когда мы, напарившись до помутнения в глазах, выбежали на деревянный мосток и кинулись в холодную Тунгуску, уже стемнело. Белые северные ночи миновали, и густо-синее небо с россыпью звезд повисло над нашими головами. Перевернувшись на спину и чувствуя сильное течение реки, я смотрел на звезды. В Сибири они были выше и казались совсем далекими.

Нас накормили ухой и шаньгами, уложили спать. Наутро я осмотрел факторию. В ней жили двадцать восемь русских, шестнадцать эвенков, три китайца и двое чеченцев, сосланных сюда еще при царе за кровную месть. Здесь они занимались кузнечным делом. Госторг же, как и везде в Сибири, скупал за бесценок пушнину у эвенков и местных охотников, торгуя тем, что завозилось обозом. Зимой пушнину возили в Кежму на оленьих санях.

Через пару дней приполз и наш обоз. В пути не обошлось без приключений: лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить, а двое ямщиков сбежали, прихватив три ружья и рюкзаки боеприпасов. Но Кулика это не очень огорчило: он был рад, что довели оборудование и съестные продукты. Вообще по прибытии в Ванавару он стал нервничать и часто выходил из себя даже по пустякам. На меня он накричал, когда я уронил барометр, а двум буровикам угрозил изгнанием за небрежное обращение с багажом. В экспедиции был один тридцатилетний астроном, Яков Ихилевич, непрерывно ведущий профессиональные «метеоритные» разговоры с Куликом. Почти всегда они заканчивались спорами на повышенных тонах, причем первым срывался Кулик, упрекая Ихилевича в «узколобости и метафизическом мышлении». Математик по образованию, Ихилевич, делая расчет падения метеоритов, вывел собственную универсальную формулу, по которой метеорит крупнее 248,17 тонны не может упасть на землю, не расколовшись на очень мелкие части. Он был абсолютно уверен, что от Тунгусского метеорита

почти ничего не осталось, и оказался в экспедиции только для подтверждения своей теории. Кулик же, жаждущий найти упавшую с неба «материю иных миров» в виде огромной глыбы или многотонных кусков, взял с собой «зануду Ихилевича, дабы посмеяться в его лице над всеми кабинетными учеными червями». Засыпая у костра, я нередко слышал сквозь сон глухое, до тошноты обстоятельное бормотание Ихилевича и резкий, высокий голос Кулика.

Но в Ванаваре бесконечным дискуссиям с Ихилевичем пришел конец. Едва низкорослый, похожий в своем пенсне на сову Яков Иосифович заикнулся о «распылении гиперметеоритной массы при ударе», Кулик оборвал его:

– Коллега, если вы пошли с нами, чтобы мешать, я вас отправлю назад.

Это было слишком. Ихилевич обиделся и перестал разговаривать с Куликом. Ссора усилила всеобщее возбуждение. До зоны вывала леса оставалось *всего* 80 километров. Молодежь рвалась вперед, но наученный прошлым опытом Кулик на этот раз хотел все просчитать и подготовить. Двигаться дальше суждено было по узкой оленьей тропе. Обозы по ней пройти не могли. Вся поклажа навьючивалась на лошадей. Решено было продвигаться двумя группами: первая с легкой поклажей выезжает на лошадях, через двадцать верст разбивает лагерь, готовит еду и ночлег; вторая группа ведет тяжело навьюченных лошадей шагом и к вечеру приходит в лагерь; там все ночуют, наутро группы меняются местами: кто прежде вел лошадей, едут на них верхом вперед, чтобы разбить новый лагерь. Кулик планировал преодолеть «тропу Охчена» за четверо суток. Треть провизии оставалась на фактории и должна быть подвезена нам уже силами ванаварцев.

Сам Василий Охчен, прошлогодний проводник Кулика, появился в Ванаваре на следующий день после нашего прибытия. Пятидесятилетний эвенк пришел со своего становья, что в двух днях хода, вместе со своим племянником. Как он выразился: «Охчен почуял, что бае приехал». Бае Кулик был рад ему, хотя отчасти из-за страха Охчена перед «проклятым местом» экспедиция № 2 повернула назад. Охчен был немногословен. Но наш спирт развязал ему язык. Спрашивали его, конечно же, про «огненный шар».

– Моя тогда там с оленями на Чамба стоял. А брат моя на Хушма с жена ушел, там рыба ловил. Вдруг Он напал. Шибко шумел, лес ломал, землю ворочал, оленей кончал. Брат руку ломал, жену терял. Мы бежать сюда на Катангу. Там теперь никто нету – ни человек, ни олень, – цедил он слова, посасывая свою узкую костяную трубку.

Охчен был уверен, что с неба ничего не падало, а просто грозный зверь Холи (мамонт), живущий в подземном мире Хергуи, куда раньше спускались шаманы, чтобы глотать его дыхание и набираться сил, разгневался на людей и потряс землю. А небесные птицы агды с пышущим из клювов пламенем вместе со своим братом учиром (смерчем) помогли ему – валили лес и поджигали его. Произошло это, потому что шаманы стали часто пить огненную воду (спирт) и забыли Холи. Совершенно опьянев, Охчен рассказал, как однажды мальчиком слышал голос Холи:

– Зима был очень крепкий, кедр трещал, олень не шел. Когда Сохатый (Большая медведица) на дыбы встал (в полночь), земля на Хушма открылся, пар пошел, и Холи оттуда кричал: «О-о-о-о!» А моя упал и лежал. Моя очень Холи боялся.

Вместо себя Охчен предложил в качестве проводника своего восемнадцатилетнего племянника Федора:

– Он тайга хорошо знает.

Федор молчал, кивал и улыбался. Охчен дал ему берданку и два ножа.

Рано утром первая группа выехала во главе с Куликом и Федором. Я был во второй. Мы тронулись в полдень. Нас вел Трифонов. Навьюченные лошади шли шагом. Мы вели их под уздцы по оленьей тропе. Каждую зиму олени протапывали ее, ломая кустарник и молоденькие деревца, поэтому тропа не успевала за лето зарости. Местами, впрочем, и она зарастала, но шедшие впереди с топорами двое ванаварцев лихо прорубали дорогу. Тайга здесь была гуще

ангарской. Белый, серый и зеленый мох стелился под ногами. Здесь я впервые заметил, что в тайге нет полян и травяных просветов: свободное место моментально зарастает кустарником и подростом. Не зарастают лишь водоемы и болота. Быстро идти можно только по звериным тропам. Но не успели мы пройти и половины пути до лагеря, как хлынул сильный ливень. Пришлось надеть бушлаты и продвигаться гусиным шагом. К лагерю мы пришли сильно за полночь. Первая группа тоже попала под ливень и потеряла патронташ. Промокший и сердитый Кулик кричал на всех. Поев пшенной каши с салом и напившись чая, мы завалились спать в мокрые палатки. А уже в шесть Кулик разбудил нас.

Тем не менее до границы вывала леса мы добрались за четверо суток, как и планировалось.

Но по дороге со мной стало что-то происходить. Во время третьей ночевки я вдруг увидел мой навязчивый детский сон, который не снился мне уже лет десять. Я снова стоял у моей великой Горы, мучительно поднимая взгляд по ее бесконечному склону к вершине. И снова я разваливался, как булка в молоке. Снова трепетал перед *большим и непонятным*. Снова поднимал руками свою голову. Но свет, пролившийся на меня с вершины, был слабым и каким-то робким, словно Гора потухала, как вулкан. Я не исчез в Свете, как в детстве, не растворился в нем, не *умер* от его необъятной мощи. Во всем сне была какая-то печальная обреченность. Что-то умирало и уходило *навсегда*. Это потрясло меня: моя Гора умирала. Рыдая, я стоял перед ней, держа свою голову. Я *смотрел* на вершину. И со мной ничего не происходило! Я видел, как гаснет Свет. Но я не мог допустить этого. Надо было помочь Горе, спасти ее. Надо было напрячься изо всех сил, что-то делать, делать, делать, делать в себе. Как в детских снах, когда машешь, машешь, машешь руками и вдруг летишь. Я весь напрягся. Но свет Горы затухал. Я махал руками, рычал, подпрыгивал. Но *почувствовал*, что мои мышцы, кости, мозг и голос не связаны с Горой. Они никак не влияют на нее. Но во мне есть *что-то*, что связано с ней напрямую. Но что?! Свет исчезал! Он таял, уходил. Я понял, что он уходит НАВСЕГДА! Рыдая от бессилия, я плясал, вопил, бил ногами в землю. Не помогало. Я вцепился в свое тело, стал ломать и рвать его, ища то, что связано с Горой. Я искал в своем теле, как в земле ищут клад. Пальцы разрывали мышцы, протыкали кожу. Стало больно. Очень больно. Это не остановило меня. Гора умирала. «Не умирай!!» – рыдал я, кромсая свое тело. И вдруг палец, пройдя между ребрами, тронул сердце. И в сердце что-то *стронулось*, сдвинулось с места. Словно что-то спящее в нем вздрогнуло. Но не проснулось. В сердце жило что-то *другое*, что-то помимо самого сердца. И именно *это* было связано с Горой. Надо разбудить *это*! Но – как?! Я стал бить кулаками в грудь, кричать на свое сердце. Но это не помогало. Свет уходил! Я вонзил пальцы себе в грудь, вцепился в ребра и потянул. Ребра затрещали. Ломая ребра и крича от боли, я засунул себе в грудь руку и нащупал сердце. Теплое и упругое, оно равнодушно билось под моими пальцами. Я сильно сжал его. Сердцу стало *нестерпимо* больно. Но боль не помогла разбудить *то*, что дремало в сердце! Оно жило само по себе! Я сжал сердце изо всех сил. Закричал и проснулся.

– Что, кошмар? – спросонья спросил невозмутимый кинооператор Чистяков, с которым мы спали в одной палатке.

– Да, да... – пробормотал я.

– Пейте йод на ночь, юноша...

Мне было жарко и душно. Руки мои тряслись в темноте, рот пересох. Я потрогал грудь: цела. Кое-как выбравшись из спального мешка, вылез из палатки. В тайге светало. Я сел на влажный мягкий мох возле палатки. Его прохлада успокаивала. Дрожащие пальцы залезли в него. Лицо мое было в поту. Успокоившись, я напился воды и потрогал грудь. Она болела, словно я действительно пытался разломать грудную клетку.

Когда мы тронулись в путь, я почувствовал тревогу и возбуждение. Они нарастали с каждым шагом лошади. Последний переход все преодолевали вместе. Кулик торопил, проводник

Федор что-то напевал на своем языке, Чистяков снимал, Ихилевич рассказывал студентам о комете Галлея. Тайга поредела, появились небольшие болотца, поросшие кочками. На привалах с них собирали чернику и голубику. Тропа наша расширилась, идти стало легче. Все ждали встречи с неизведанным и оживленно переговаривались. Я же шел молча, ведя под уздцы свою неказистую пегую лошадь. Возбуждение мое нарастало, сердце часто билось. Это заставило вспомнить кружку со спиртом и кокаином, поднесенную мне, тринадцатилетнему, мешочником Самсоном на станции Красное. Тогда я не спал всю ночь, что-то бессмысленно долго и энергично обсуждая с полуграмотными мешочниками, подсмеивающимися надо мной. Сейчас же мне совершенно не хотелось ни с кем разговаривать. Я шел и шел по мшистой тропе, обходя деревья, прислушиваясь к ударам своего сердца.

Вечером мы вошли в зону вывала леса.

Это произошло неожиданно для меня. Экспедиция наша сильно растянулась: нетерпеливый Кулик с Федором вырвались вперед, молодежь догоняла их. Я со своей лошадью брел последним, хмуро глядя под ноги и вспоминая странный сон. Вдруг солнце ударило мне в глаза. Это было странно и неожиданно: обычно вековая тайга скрывала солнце, лучи его застревали в густой хвое. На миг мне показалось, что сейчас раннее утро:

сказывался недосып последних ночей. Но вспомнив, что мы идем на северо-запад, я опомнился и поднял голову.

Вокруг не было векового леса! Он весь лежал на земле. А вместо него рос невысокий молодой и довольно редкий подлесок. Впереди словно раздвинули занавес. И стало далеко видно: сопки, между которыми заходило солнце, до самого горизонта тоже стояли голыми, без тайги, слегка подернутые зеленью. И я увидел нашу экспедицию, сильно ушедшую вперед. Маленькая фигурка Кулика сняла с плеча ружье и выстрелила вверх. Остальные победоносно закричали. Тропа пересекалась с первым лежащим деревом. Я подошел к нему, опустился на корточки. Могучая лиственница лежала во всю тридцатиметровую длину с вывороченным корневищем. Ствол ее местами был тронут прелью, кора почти везде облупилась, ветки отломились. Рядом, почти параллельно лиственнице, лежала такая же толстая и длинная ангарская сосна. Сломанный в середине ствол ее порос мхом и грибами. Дальше начинался поваленный лес. Все деревья лежали вершинами ко мне, корневищами – к заходящему солнцу. То тут, то там торчали из земли стволы переломанных великанов, удержавшихся корнями за землю, но не спасших своих вершин от страшного удара воздушной волны. Погибший лес впечатлял размахом и силой внезапно налетевшей смерти. Я положил руку на посеревшую и потрескавшуюся лиственницу, испещренную древоточцами. Сердце мое затрепетало, в глазах помутнело. И вдруг мне стало *ужасно* приятно. Так приятно и хорошо, как бывает только в детстве. Когда вокруг все большое и громкое, а ты совсем маленький, но есть теплая и навеки родная ладонь, которая согреет и защитит, в которой ты лежишь, как в ракушке. Глаза мои наполнились слезами. И непроизвольная струя моей мочи тепло и нежно потекла по ногам. Я разрыдался. Лошадь покосилась на меня, протянула равнодушную морду и ухватила кустик зверобоя, выросший на трухлявом боку сосны. Я рыдал и мочился, совершенно забыв, кто я и где. Моча иссякла, я всхлипнул и встал. Ноги мои дрожали. Я вытер слезы и посмотрел на свои черные шерстяные штаны. Моча сочилась из них. Я расстегнул штаны и как мог отжал их. В голове было пусто, сердце часто билось. Лошадь жевала. Я взял ее под уздцы и повел меж двух поверженных деревьев. Вывороченные грозные корневища их почти смыкались. Навьюченная жующая лошадь всхрапнула, когда мы протиснулись между ними.

Подойдя к другим, я встал со своей лошадью неподалеку. Все шумно радовались и не уставали удивляться фантастическому ландшафту. Кулик был так возбужден, что готов был идти дальше. Но солнце село. Разбили лагерь, развели большой костер из сухих веток поваленных деревьев. По случаю выхода к месту Кулик разрешил выпить спирта. Все быстро повеселели, галдели, стали петь песни. Захмелевший Кулик спел старинную песню каторжан,

услышанную им в ссылке. Я держался поодаль и молчал. Мне совершенно не хотелось разговаривать. Сидя у костра, я смотрел в огонь. Мне протягивали фляжку со спиртом, совали еду. Я мотал головой: есть я тоже не хотел. Мне было *хорошо*. Приятное оцепенение охватило тело. На меня не обращали внимания. Сердце мое стучало, я прислушивался к нему. Вскоре я залез в палатку и заснул глубоким сном без сновидений.

Встал я отдохнувший, но по-прежнему беспокойный. Глядя на вставшее солнце, я вдруг понял, что *не случайно* попал в это странное место. Что-то крепко связывало меня с этим безжизненным пейзажем. И что-то ждало впереди.

Разложили огонь, согрели чая. Но за быстрым походным завтраком мне опять не захотелось разговаривать. Да и аппетита не было. Я взял сухарь и, макая в чай, стал сосать.

– Как ты думаешь, Снегирев, он железный или каменный? – спросил студент Аникин.

Я пожал плечом.

– Я почему-то уверен, что каменный, – блестел очками заросший редкой щетиной Аникин.

Я снова пожал плечом.

Мы двинулись вперед.

Кулик определил маршрут по направлению лежащих деревьев. Мы должны двигаться от вершин к корням, то есть в ту сторону, откуда пришла воздушная волна. Пройдя километров пять по мертвой тайге, я вдруг заметил, что исчезли тучи гнуса, постоянно преследующие нас. И совсем перестали петь птицы. Молодые деревца робко росли между полегших исполинов. Кругом стояла абсолютная тишина. В ней робко звучали наши шаги, голоса, всхрапывание лошадей. Тишина была гораздо больше нас. Постепенно голоса смолкли, люди шли молча, замороженные и подавленные. Иногда попадались олени черепа и кости, пару раз я видел лосиные рога, торчащие из мха. Ни одного звериного шороха не нарушало тишину. Только мертвый лес проплывал мимо.

Постепенно сопки сгладились, болот стало больше. Мы обходили их. Вечером, как обычно, остановились на ночлег. Но прежнего веселья не было. У костра все выглядели усталыми, ели почти молча. Даже Кулик как-то притих. Худой и остроносый, с густыми, топорщащимися усами, в своих больших круглых очках, он напоминал испугнутого зверька.

Я же у костра опять почувствовал нарастающее возбуждение. Но оно больше не сопровождалось страхом и беспокойством. Мне было спокойно. И я совершенно не устал, хотя прошел со своей лошадью пятнадцать километров, обходя болота, пробираясь через бурелом, переступая через замшелые стволы.

Спали мы на этот раз в палатке с Аникиным. Он долго ворочался и теребил меня разговорами. Я же мычал что-то в ответ, лежа в темноте с открытыми глазами. Спать мне не хотелось.

– Вообще страшновато здесь, а, Снегирев? Вакуум какой-то... – бормотал засыпающий Аникин. – Недаром эвенки сюда не ходят. Хотя, конечно, предрассудки... о-о-о-э-э... все-таки, черт побери, какова сила энергии космоса! Вот что надо покорить человеку... о-о-э-э...

Он заснул.

Я лежал, отдавшись своему чувству. Что-то приятно-мучительно просыпалось внутри меня. Я не понимал – что, но *оно* было связано с местом, где я оказался. Это я чувствовал точно. Сердце мое как-то *по-новому* билось.

И замирало, останавливаясь. И в этом была радость предчувствия чего-то огромного и как-то *по-новому* родного. Оно росло, как *тяжелая* волна. И неумолимо надвигалось. Я трогал себя и старался дышать осторожно. В ту ночь я так и не заснул. Она пролетела быстро. Я встал раньше других, разложил погасший за ночь костер, сходил с нашим большим чайником на болото за водой и, подвесив его над огнем, сел рядом. Глядя на языки пламени, ползущие по сухим сучьям, я вспомнил свое прошлое. Оно показалось мне призрачным и зыбким. И стояло передо мной застывшей картиной под стеклом, словно гербарий в музее. И эта картина не

вызывала никаких чувств. Благополучное детство, налетевшая как смерч революция, потеря семьи, скитания, учеба, одиночество и сиротство – все *навсегда* застыло под стеклом. Все стало *прошлым*. И отделилось от меня. Настоящим была только *новая* радость моего сердца. Она была сильнее всего.

Чайник закипел и пустил струю пара. Вид его был грозным и глупым. И я расхохотался. – Над чем смеетесь, товарищ Снегирев? – раздался сзади голос Кулика.

Я даже не обернулся. Кулик тоже стал прошлым, как и вся экспедиция. За эту ночь я потерял интерес к нему. Он стал маленьким и беспомощно-грозным. Как чайник. Посмеиваясь, я кинул в огонь сучок.

– Ступайте, разбудите остальных, – сказал Кулик, протягивая мне свой футбольный свисток.

Я молча встал, взял свисток и оглушительно засвистел. Я свистел долго. Кулик внимательно посмотрел на меня.

– С вами все в порядке? – спросил он, когда я перестал.

Я не ответил. Мне *ужасно* не хотелось говорить. Каждое слово возвращало меня в прошлое. Ответить Кулику «спасибо, со мной все в порядке» означало вернуться назад, *за стекло*. За завтраком я снова молчал. Мне протянули сухарь и вяленую пелядь. Они выглядели убого. Я не притронулся к ним, положил на клеенку. Из берестяного туюска насыпал себе в ладонь голубики, съел и запил чаем. Кулик провел короткую летучку, сказав, что «до тайны осталось совсем немного». И мы тронулись в путь.

Я снова шел сзади. Окружающий ландшафт не изменился. Экспедиция продвигалась через поваленный лес. И чем дальше углублялась в него, тем восторженней и сильнее внутри себя я становился. Я вел свою лошадь без устали, помогая ей перешагивать через лежащие на земле стволы, пробираясь через завалы, вытягивая из болотной жижи. Болотистая местность дала о себе знать: к обеду все были грязными – люди и лошади. В отличие от меня все стали быстро уставать и раздражаться. При этом нарастала всеобщая угнетенность: мертвая зона настораживала. Вспыхивали ссоры. Янковский обвинил ванаварца Урнова в воровстве сахара. Ванаварец крестился и божился, что не брал. Ихилевич, молчащий последние дни, вдруг в дороге разразился полуистерической лекцией о теории звездных взрывов, в конце которой он почти закричал, что «наука не позволит дуракам шутить с собой». Кулик зло подсмеивался над ним. Два студента постоянно до хрипоты спорили, кому вести какую лошадь и что на ней везти. Их прозвали «братья Гракхи». Охотники Петренко и Молик четырежды за день поднимали с болота уток, но убили только одну. У Чистякова что-то сломалось в кинокамере, он постоянно чинил ее и грязно ругался. Трифонов делал ему замечания.

Вскоре мое нежелание разговаривать было замечено. Так же заметили, что я практически перестал есть. За моей спиной переглядывались и перешептывались. Кулик и Трифонов пытались разговорить меня, спрашивали о самочувствии. Я только пожимал плечами и улыбался. Во время походного обеда, когда все с жадностью набрасывались на пшеничную кашу с салом и вяленую рыбу, я ел ягоды и пил чай. Обычно во время обеда еда выкладывалась на большую клеенку, вокруг которой все рассаживались. На клеенке лежали: сухари, вяленая рыба, сало, лук, кусковой сахар. В центр клеенки на дощечку ставился котел с пшенной кашей, заправленной салом и сушеной морковью. Из него все черпали деревянными ложками. Мисок в экспедиции не было, Кулик говорил, что они только гремят в пути и требуют времени на помывку. После каши в жестяные кружки разливался густой чай. Его пили с сахаром вприкуску, чай внакладку Кулик пить запретил. Сидя в кругу, я пил чай из кружки и смотрел на едящих людей. Пища их казалась мне уродливой. Впервые за всю свою недолгую жизнь я вдруг разглядел, *что* едят люди. Они ели либо мертвое, либо переработанное, измельченное, перемолотое, высушенное. Вяленая сморщенная рыба и сухие сухари вызывали у меня одинаковую неприязнь. Из всего, что во время обеда выкладывалось на клеенку, только луковицы и ягоды не вызывали

у меня отвращения. Они были нормальной едой. Иногда я брал луковицу и съедал, запивая чаем. На меня косились. Аникин, с которым я спал в палатке, стал со мной немногословен. Он больше не рассуждал о метеоритах и кометах. Лежа вечером в палатке, я услышал разговор Кулика и Трифонова:

- Снегирев, похоже, чокнулся. Надо что-то с ним делать.
 - Что? Изолировать от общества? И куда же?
 - М-да... некуда. Присматривайте за ним. Все-таки он наш талисман.
 - Вы стали суеверны?
 - На время экспедиции. Осуждаете?
 - Нисколько. Я же диалектик.
 - Ну, батенька, я тоже не метафизик!
- Они рассмеялись в темноте.

Вторую ночь я провел в полусне. Мое состояние было прекрасным. Бодрость и энергия переполняли меня. И я жил только настоящим: прошлое было забыто. Мне хотелось одного: чтобы *радость* моего тела не кончалась. Ради этого я готов был на все.

Утренняя летучка прошла нервно. В экспедиции начался ропот: пройдено тридцать километров по зоне вывала леса, а следов падения метеорита нет. Ихилевич и Потресов старались убедить всех, что метеорит взорвался в воздухе. Кулик грубо одернул их, назвав «малодушными ренегатами». Геологи предлагали пройти еще немного и развернуть строительство барака. Буровики, которые почему-то устали больше всех, поддержали их, советуя начать строить прямо здесь. Студенты, замороженные странным местом и измотанные дорогой, были готовы на все. Но Кулик и Трифонов настаивали на движении вперед. Я же слушал перебранки и споры, радуясь, что я не такой, как они, что мне дано *что-то*, что заставляет петь мое тело. В отличие от остальных я был счастлив. И мне было все равно – идти дальше или остановиться здесь.

Наконец Кулик не выдержал и засвистел в свисток: знак начала марша. Спорить с ним было бесполезно – начальником экспедиции был он. Навьючив поклажу на лошадей, экспедиция тронулась в путь. Сами лошади чувствовали себя неплохо: на болотцах было достаточно сочной травы, они паслись там ночами и во время стоянок.

Километров через шесть поваленный лес изменился: почти все стволы были переломаны пополам, вывороченных с корнями практически не стало. Лес как бы воскрес, но в виде высоких пней. Эти пни стали расти вверх с каждым километром. А еще через шесть километров старый лес восстал: деревья стояли целые, но были смертельно обожжены. Все они засохли и умерли. Этот стоящий мертвый лес выглядел еще необычнее поваленного. Здесь практически не было молодого подростка.

Экспедиция остановилась. Кулик дал команду разбить лагерь. Пока мы ставили палатки и готовили еду, они с Трифоновым и Чистяковым сели на лошадей и отправились вперед. Вернулись к вечеру. Кулик велел всем собраться и сделал важное сообщение: впереди большое болото. Вокруг него – выжженный лес. Судя по всему, метеорит взорвался высоко над болотом. Если бы он упал на землю, лес был бы полностью повален. Но лес, находящийся непосредственно под взрывом, лишь обгорел от вспышки, но устоял, так как направление ударной волны было строго вертикально, она шла с неба. Кулик предлагал переночевать, а завтра выйти к болоту, разбить там постоянный лагерь, построить барак и начать поиски осколков метеорита. В завершение своей речи он поздравил экспедицию с выходом к месту падения. Все, кроме меня, зааплодировали и радостно закричали. Буровики предложили выпить по этому поводу, но Кулик осадил их:

- Никакой выпивки! Праздновать будем, когда найдем осколки.

Больше остальных радовался Ихилевич: его гипотеза взрыва гиперметеорита оказалась верной. Но Кулик не выглядел разочарованным. Он был уверен, что вокруг болота разбро-

саны большие осколки. Все опять заспорили, теперь уже об осколках. Спор затянулся. Я же в темноте бродил вокруг лагеря. Мертвый лес стоял кругом. Луна освещала голые обугленные стволы. Мне было *очень* хорошо: радость причастности к этому удивительному месту переполняла меня. Каждое мое движение, каждый поворот тела, каждый вздох, каждое прикосновение пальцев к траве или к стволам вызывало сердечный восторженный всплеск. Сердце трепетало и пело. Кровь, нагнетаемая им, стучала в моих висках, играла радугами в глазах, звенела в ушных раковинах. Бродя меж стволов, я чувствовал, что где-то здесь, совсем рядом меня ждет что-то *огромное и родное*. Это оно заставляет сердце петь. Ради него я пришел сюда. И оно ждет меня. Одного меня. ТОЛЬКО меня!

Ночью я опять не спал.

С утра пораньше тронулись в путь. Кулик сказал, что до болота километров восемь. Это приободрило экспедицию. Все шли радостные, оживленно переговаривались, нарушая мертвую тишину. Впрочем, она была не совсем мертвой. Опаленный лес таил в себе реальную опасность: деревья за двадцать лет успели подгнить. При сильном порыве ветра некоторые из них рушились на землю. Звук падающего дерева далеко разносился эхом. Все замирали, слушая, как валится очередной великан. Потом продолжали движение, оглядываясь. Погода стояла чудесная: было по-летнему тепло, грело солнце.

К трем часам пополудни мы вышли к болоту. Оно простиралось вперед на несколько километров. За ним сквозь легкий болотный туман виднелись далекие сопки. Вокруг болота стоял опаленный лес. Чистяков, отошедший по нужде, нашел родник, бьющий из каменистой почвы и извилистым ручьем впадающий в болото. Вода в нем была удивительно чистой и вкусной. После кипяченой болотной воды все впервые за последние дни напились родниковой. Роднику сразу присвоили имя Чистякова. Кулик подошел к обгоревшей сосне с отломанной макушкой, вытащил из-за пояса свой самодельный кельтский топорик и вонзил в ствол:

– Тут будет лагерь заложен!

Путешественники закричали «Ура!», сняли свои «китайские» шапки и подбросили вверх. Был объявлен праздничный банкет. Все яства, которые только были в экспедиции, оказались на клеенке. На костре сварили гречневую кашу, заправили ее салом, луком и соленой нельмой. Фляжки со спиртом пошли по рукам. Я сидел, ел ягоды и пил воду. На меня уже не обращали внимания. Все быстро захмелели. Говорились тосты, хвалили Кулика за прозорливость и за правильно выбранный маршрут, пили за «шибко смелого» проводника Федора, за неутомимого Трифонова, фанатичного Ихилевича, нестигаемого Чистякова, храбрых Молика и Петренко, мужественных Янковского и Потресова. Студенты пили за буровиков, буровики за геологов, геологи за астрономов. Племянник Охчена быстро и сильно опьянел, пел тунгусские песни, щелкал языком и глупо хохотал. Буровик Гридюха подпевал ему по-украински, вызывая всеобщий хохот. В конце концов двум студентам стало плохо. Не пили только я, Ихилевич, не переносящий алкоголя, да чопорный геолог Воронин. Кончилось все сильно за полночь.

Когда лагерь захрапел, я снова стал ходить вокруг. Звезды и луна скрылись за облаками. Но северное небо даже ночью было светлым. Я бродил меж обугленных деревьев, трогал их стволы, садился на мшистую землю, потом вставал, брел к болоту, к ручью, трогал воду. *Огромное и родное* было где-то совсем рядом. Оно ждало меня. Оно прогнало сон из моего тела, оставив только восторг ожидания. Оно заставляло трепетать мое сердце.

Я встретил рассвет среди мертвых деревьев.

Наутро Кулик объявил всем распорядок дня: они с Трифоновым, Федором и Чистяковым отправляются на поиски осколков и составляют карту местности, все остальные под руководством строителя Мартынова возводят барак.

После завтрака началось строительство. Коренастый и конопатый молчун Мартынов наконец почувствовал, что пришло его время: лицо его покраснело от крика. Он зычно командовал всеми до самого ужина. Под его началом ученые мужи и выдавшие виды геологи выгля-

дели жалкими подмастерьями. Сначала мы рыли ямы под столбы для барака, потом валили обугленные стволы, обрезали их и катили к месту стройки. Из деревьев мы выбирали лиственницы, так как сосны почти все были трухлявые. Лиственницы же прекрасно сохранились за двадцать лет и при падении звенели, как железо. У них сгнили и ломались только макушки. Пилить их было тяжело: засохшие на корню, они стали тверже пил, которыми их резали. В ямы забили толстые комли, на них положили первый обугленный венец, и барак стал быстро расти. Венцы, естественно, не обтесывали – никакой топор не брал твердое сухое дерево. Кулик дал указание Мартынову: строить проще и не на века. Но дотошный Мартынов забыл наставление: он кричал и требовал от нас высшего качества. В конце концов буровик Мишин сказал Мартынову, что если тот не перестанет «брать на бас», то будет строить сам. Мартынов приутих, но ненадолго. К ужину пять венцов были сложены. Барак получался просторный.

После захода солнца вернулись радостные разведчики. В четырех километрах на юго-запад они обнаружили три большие воронки.

Назавтра трое буровиков и мы с Аникиным в качестве землекопов отправились туда с Куликом. Воронки были приблизительно одинаковы – метров по двадцать диаметром и глубиной метра три. На дне их стояла вода от подтаявшего льда вечной мерзлоты. Сначала вычерпали ее ведрами из крупнейшей воронки. Затем буровики стали бурить илистое дно воронки ручным буром. Не пробуравив и метра, бур уперся во что-то. Кулик ликовал. Все взялись за лопаты и ведра: одни копали, другие вычерпывали жижу ведрами. Кулик копал вместе с нами. Я копал, стоя по колено в болотистой почве. Все, о чем меня просили, я исполнял не задумываясь. Мне было все равно: никакая работа не отвлекала меня от внутреннего *восторга*. Сердце мое продолжало петь, пока я, забрызганный грязью, вычерпывал торфяную жижу. Часа через три в черной жиже показалось что-то большое и бесформенное. Кулик постучал по нему лопатой. Звук был глухой, явно не камень и не железо. Кулик ударил сильнее, и лопата вошла в трухлявое дерево: в воронке оказался громадный пень лиственницы. Проверили буром другую воронку – бур так же уперся в дерево. Кулик был подавлен, но старался держать себя в руках.

– Первый блин – комом, – сказал он, вытирая платком забрызганное грязью лицо.

На вечерней летучке устроили научный совет по поводу найденных пней. Геологи утверждали, что воронки и погружившиеся в них пни – эффект подтаивания вечной мерзлоты. Кулик с ними не спорил. Его интересовал метеорит.

Прошла еще одна ночь. Я провел ее в палатке в полудреме. *Восторг сердца* не позволял мне заснуть глубоко. Я молился об одном – чтобы мой *восторг* не кончался. Обо мне в экспедиции старались не говорить, меня не замечали, но брали на все работы. Однажды я услышал фразу Кулика:

– Слава природе, этот Снегирев – тихий сумасшедший...

Утром Кулик с Федором и Моликом отправились в разведку, остальные продолжали строительство барака.

К вечеру все десять венцов были сложены. Сруб из обугленных бревен выглядел зловеще. Между венцами просвечивали большие щели. Зато барак получался просторным. Решено было пологую односкатную крышу сложить из тонких деревьев, проложить привезенной клеенкой, а сверху покрыть все мшистым дерном и придавить камнями.

Сидя вечером у костра и глядя в огонь, пока другие ели, я вдруг испытал необыкновенное чувство. Я словно потерял свое тело. От него осталось только сердце, которое повисло в пустоте. Я почувствовал свое сердце. Оно напоминало зародыша. В нем равномерно пульсировала жизнь. Но оно спало, еще не рожденное. И самое поразительное – я почувствовал сердца сидящих вокруг костра. Они были точно такими, как и мое. Они так же пульсировали. И так же спали. Наши сердца *еще не родились!* Это открытие поразило меня как молния.

После этого я впал в транс. Я перестал не только говорить, но и реагировать на вопросы и просьбы. Я просто сидел, обняв колени, и смотрел в огонь невидящими глазами. Они видели

только *неродившиеся сердца*. Меня отнесли в палатку, влили в рот опия. И я заснул глубоким сном.

Проснулся я через трое суток от криков и выстрелов. Мне было спокойно. Но *радость* ушла из меня. Выбравшись из палатки, я увидел всю экспедицию, стоящую вокруг готового барака. Они радостно кричали и палили вверх из ружей. Я подошел к ним. Ко мне подбежали, стали обнимать. Оказывается, радости было три: построен барак, совсем неподалеку найдена большая воронка, из Ванавары утром пришел вьючный обоз с продуктами. Я слушал, с трудом понимая. Я был опустошен и равнодушен. Ко мне подошел Кулик:

– Ну что, Снегирев, поправились?

Он внимательно посмотрел мне в глаза. Я ответил ему *своим* взглядом.

– Значит так, молодой человек, – заговорил Кулик, – питаться с сегодняшнего дня будете хорошо и под моим присмотром. Нам постники не нужны. Ясно?

Я молча смотрел ему в глаза. Кулик принял мой взгляд за согласие. Они уже пообедали, так что время насильного кормления меня перенесли на вечер. Обоз, разгрузившись и отдохнув, забрал половину наших лошадей, двух больных – геолога Воронина (у него был сильный понос и поднялась температура) и студента Береловича (повредившего глаз на строительстве), почту и ушел назад в Ванавару. Меня с обозом назад не отправили, посчитав, что я, несмотря на тихое помешательство, способен приносить пользу. А может быть, Кулик и впрямь верил в меня как в талисман.

Вскоре он собрал всех и произнес вдохновенную речь. Он говорил, что все идет по плану, все складывается наилучшим образом; найденная пятидесятиметровая воронка – явно метеоритного происхождения, буры никаких пней на ее дне не нашли, значит – отыщется что-то более важное; геологи промыли в ручье Чистякова местную почву и обнаружили в ней микроскопические металлические шарики, каждый размером не более двух миллиметров; эти шарики рассеяны практически везде и свидетельствуют о металлической природе Тунгусского метеорита; барак построен, он оборудуется под жилье, в него переносится вся провизия; трое человек остаются в лагере и занимаются обустройством барака, остальные перемещаются к воронке, находящейся всего в трех километрах, и до вечера занимаются раскопками.

В лагере оставили Мартынова, Аникина и меня. Барак был разделен на складскую и жилую половины: одна для хранения провизии и вещей, другая для сна. Сперва мы перенесли все наши вещи и сгрудили их в складской, потом стали мастерить нары из молодых деревцов и конопатить мхом щели в стенах. В бараке были прорезаны два небольших окошка. По-прежнему стояла теплая и сухая погода. Мартынов с Аникиным отправились по краю болота искать молоденькие деревца. Забывая белый мох в щель между обугленных, изъеденных древоточцами бревен, я машинально следил сквозь эту щель за двумя удаляющимися фигурками. Топор в руке Мартынова сверкнул на солнце. И эта вспышка света вдруг разбудила меня. Сердце мое затрепетало, мозг заработал. И я наконец понял всем своим существом, **ДЛЯ ЧЕГО** пришли сюда люди! Они пришли, чтобы найти *огромное и родное*. И навсегда отобрать его у меня! Я затрепетал в ужасе, комок мха и молоток вывалились из рук. Для чего они так долго шли сюда? Для чего терпели трудности? Для чего построен этот барак?! Чтобы найти мою *радость*! Чтобы НАВЕК лишить меня встречи с ней!

Холодный пот выступил у меня на губах. Я слизнул его. Надо было действовать. Я огляделся: барак. Он построен людьми, чтобы помочь им найти *огромное и родное*. Без него они беспомощны в тайге. Я выбежал из барака. Поодаль стояла бочка с керосином. Кулик запретил хранить ее в бараке. Я подкатил бочку к барaku, втащил внутрь. Выбил пробку и наклонил бочку над ведром. Керосин потек в ведро. Я схватил ведро и плеснул на груды вещей, коробов и мешков. Потом наполнил второе ведро и вылил на стены. Третье и четвертое ведро расплескал на стены снаружи. Взял спички, вышел из барака. Чиркнул спичкой и бросил ее на черную стену. Барак загорелся.

Я повернулся и пошел в тайгу. Выбрав направление, противоположное тому, куда направились люди, я шел между почерневших деревьев. Сердце снова затрепетало, сильнее и настойчивей, чем прежде. Оно билось в груди так, словно хотело разломать решетку ребер и выпрыгнуть наружу. Я понял, что надо спешить, и побежал. Время остановилось, черный лес прыгал перед глазами, пот заливал мне лицо. Я бежал, бежал и бежал. Это длилось бесконечно. Солнце клонилось к закату, мертвая тайга погружалась в сумерки. Звезды сверкнули над обугленными макушками. Ноги мои подкашивались. Дыхание рвалось из пересохших губ. Вдруг впереди возникло поваленное дерево – единственное на весь умерший стоя лес. Старая толстая листовенница, переломившаяся пополам, лежала во всю свою длину на земле. Громадный не вывороченный до конца корень замер, приподнявшись над землей. На последнем издыхании я упал на землю, заполз под нависающий корень и потерял сознание.

Лед

Я открыл глаза.

Было темно и остро пахло землей. Я пошевелился, протянул в темноте руку. Она нащупала землю и корни. Холодная земля посыпалась. Я сразу вспомнил, кто я и где. И стал выбираться из своей норы. Выполз из-под нависающей над землей корневой «крыши» старой лиственницы, послужившей мне убежищем, и замер: все вокруг было залито ярким лунным светом. Я поднял голову: огромная полная луна висела в черно-синем небе в окружении звездной россыпи. Свет ее был так ярок, что я отвел глаза и осмотрелся: все до самого горизонта было залито этим невероятным светом. Фантастический пейзаж предстал передо мною. Освещенные сопки напоминали застывшие волны невиданного океана. Перетекая, наплывая и сталкиваясь, они уходили вдаль, к подсвеченному на востоке небу. Мертвый лес стоял вокруг в абсолютной тишине: ни звука, ни шороха. И посреди этого стоял я. Один.

Но страха не было. Наоборот, глубокий сон под корнем древнего дерева придал силы и успокоил. Лихорадка, постоянно сотрясающая меня, покинула тело, словно утекла в землю. Я поднял руки к луне, с наслаждением потянулся.

И застонал.

Я был свободен!

Никого не было рядом. Никто не смеялся надо мной, не приказывал, не просил, не понукал, не давал идиотских советов, не рассуждал о марксизме и астрономии. Ненавистный рой слов, словно гнус, преследовавший меня весь этот месяц, рассеялся, уплыл вместе с людьми. Абсолютная тишина мира потрясала. Земной мир замер передо мной в величайшем покое. И я впервые в жизни остро ощутил *тварность* этого мира. Наш мир не появился сам по себе. Он – не результат случайной комбинации слепых сил. Он был создан. Волевым усилием. И в одно мгновение.

Открытие это потрясло меня. Я осторожно втянул в себя прохладный ночной воздух. И замер, боясь выдохнуть. Книги по философии и религии, споры о бытии, времени и метафизике не дали мне ровным счетом ничего в понимании мира, в котором я оказался. А эта минута посреди мертвой, залитой лунным светом тайги открыла мне великую тайну.

Я выдохнул.

И сделал шаг.

Сердце мое знакомо встрепенулось. И я вспомнил *огромное и родное*. То, что заставляло дрожать в немом восторге, не спать по ночам, идти без усталости и молчать, сжав зубы. Оно было рядом. Я снова почувствовал его сердцем. Но уже – спокойно, без слез и содроганий. *Огромное и родное* звало меня. И я двинулся на его зов.

Я шел между почерневших стволов. Луна двигалась за мной, подробно освещая мой путь. Я видел каждый камень под моими ногами, каждый сломанный сук. Луна играла на обугленных стволах. Они поблескивали и переливались, как антрацит. Густой мох мягко прогибался под моими сапогами. Идти было легко: у меня больше ничего не было за плечами. Ни консервов, ни сала, ни сухарей. Ничего, что связывало с людьми. Но это не пугало меня – я совершенно не испытывал голода. Весь мой внутренний восторг последнего месяца теперь превратился в одно ровное и стойкое желание: идти к *огромному и родному*. И найти его.

Я шел.

Ноги легко преодолевали дикий безжизненный ландшафт. Я шел час, другой, третий. Сопки медленно проплывали мимо. Наконец они сгладились, расступились. И лунный свет сверкнул в полосе воды.

Болото!

Я приблизился к нему.

Легкий туман из испарений по-прежнему стоял над ним. Сердце сильно забилося. Меня тянуло туда непреодолимою силой. *Родное* было там. И я шагнул вперед. Мох под ногами стусился, полностью скрыв почву. Выросли болотные кочки, и вскоре вязкая жижа захлюпала под ногами. С каждым шагом сердце мое билось сильнее. Но это не были привычные частые удары волнения и возбуждения. Сердце билось редко, но все сильнее и увесистей – каждый удар отдавался в груди, волны от него расходились по телу. Сердце словно начало жить своей жизнью, отдельной от жизни тела. Его равномерные и тяжелые удары *сладко* потрясали меня. Тело резонировало в такт этим ударам. Сапоги вязли все глубже, идти стало трудно. Болотная жижа поднималась. Вскоре я провалился по пояс. Холодная вода хлынула в сапоги, объела ноги. Это был холод вечной мерзлоты. Луна ярко и бесстрастно светила мне. Гулкие удары сердца не оставляли места страху. Я *ужасно* хотел идти вперед. И рванулся изо всех сил. Ледяное болото обхватило меня за ноги. Но я был сильнее. Цепляясь руками за кочки, я пробивался вперед. Шаг, другой. Десять труднейших шагов.

Двадцать.

Сто.

Кочки кончались: впереди лежала ровная, подернутая ряской мочажина. Я сделал сто первый шаг. И провалился по грудь. Но сердце билось уже совсем оглушительно, каждый удар крови толкал меня вперед. Я ухватился за гнилой ствол старого сломанного дерева, торчащий из ряски. И понял, что впереди внизу – глубина и трясина. Но над этой трясинной есть полоса воды. И по этой воде можно плыть. Надо просто снять с себя все – поплыть вперед. Схватившись за ствол, яростным движением я вырвал ноги из трясины, подтянулся и сел на обломок. Снял с себя мокрую, облепившую тело одежду. Стянул полные водой сапоги. И, голый, оттолкнулся от ствола, кинулся вперед, как лягушка, разгребая воду руками и толкая ногами. Это было невероятно – я плыл по болоту, как по озеру. Вода наверху, под ряской была чистой и холодной. Надо было только плыть вперед, не останавливаться. Если остановиться – смерть, трясина засосет меня. Она щекотала мне живот гнилой тиной, цеплялась корягами. Но страх остался позади, в мире людей. Я проплыл немного и вдруг понял: *огромное и родное* совсем рядом. Еще немного – и до него можно дотронуться.

Сердце забилося так, что в глазах вспыхнули розово-оранжевые радуги. Мне *стремительно* стало тепло. Потом – жарко.

Восторг охватил меня.

Рыдания рвались из сжатого рта, забывшего язык людей. Я понял, что если не коснусь *огромного и родного*, то умру, утоплю себя. Мне незачем жить без *него*. У меня нет ничего, кроме *него*. Никогда в жизни я так сильно не желал чего-то.

Вода, разгребаемая мною, переливалась в лунном свете. Зеленая ряска играла на ней.

Божественная тишина стояла кругом.

Гребок рук, скольжение тела вперед.

Еще гребок.

Еще.

Еще!

Еще!!

Еще!!!

Мои руки коснулись Льда.

И я понял, *почему* я пришел сюда.

И разрыдался от счастья.

Я нашел *огромное и родное*! Пальцы трогали гладкую поверхность. Сердце оглушительно билось. Я почувствовал, что теряю сознание. Голова моя вмиг очистилась. В ней зазвенела божественная пустота. А пальцы лихорадочно все трогали и трогали Лед под водой. Рыдая, я стал захлебываться. Край Льда плавно тянулся кверху. Я отчаянно оттолкнулся от воды. И

вполз на Лед, словно ящерица. Над ним воды было совсем немного. Трясаясь и рыдая, я полз и полз дальше, по линзе Льда. Вокруг до дальних сопкок раскинулась ровная мочажина, затянута ряской. Громадная глыба Льда спала под ней, погрузившись в болото. Эта *родная* глыба тихо лежала двадцать лет и ждала меня. Двадцать лет понадобилось мне, чтобы найти Лед! Рыдания гнули мое тело. Оно пылало от жара. Удары сердца потрясали. Я задышался, глотая сырой воздух болота. Впереди зеленая ряска немного расступалась. Там в лунном свете сверкнул Лед! Маленький пятачок чистого Льда! Я приподнялся и побежал к нему, разбрызгивая воду, разгоняя сонную тысячелетнюю ряску. Лед! Лед сверкал белым и голубым! Какой чистый! Какой могучий! Какой родной!

Мой, мой навеки!

Подбежав, я поскользнулся.

И упал, со всего маха ударившись грудью о сияющий Лед.

Сознание покинуло меня. На мгновение.

Затем мое сердце словно зазвенело от удара об Лед. И я почувствовал сердцем *сразу* всю глыбу Льда. Она была громадной. И вся она вибрировала и резонировала вместе с моим сердцем. И только для меня одного. Сердце, спавшее все эти двадцать лет в грудной клетке, проснулось. Оно не забилося сильнее, но как-то *торкнулось* – сперва больно, потом сладко. И, трепеща, *заговорило*:

– Бро-бро-бро... Бро-бро-бро... Бро-бро-бро...

Я понял. Это было мое настоящее имя. Меня звали Бро. Я понял это всем своим существом. Руки мои обняли Лед.

– Бро! Бро! Бро! – трепетало сердце.

И глыба Льда отвечала моему сердцу. Ее божественные вибрации вливались в мое сердце. Лед вибрировал. Он был старше всего живого на земле. В нем пела Музыка Вечной Гармонии. И ее нельзя было сравнить ни с чем. Она звучала Началом Всех Начал. Прижавшись грудью ко Льду, я замер, слушая Музыку Вечной Гармонии. В это мгновение весь земной мир побледнел, стал прозрачным. И исчез. А мы со Льдом повисли одни во Вселенной. Среди звезд и безмолвия.

И пробудившееся сердце мое стало вслушиваться в Музыку Вечной Гармонии:

Сначала был только Свет Изначальный. И свет сиял в Абсолютной Пустоте. И Свет сиял для Себя Самого. Свет состоял из двадцати трех тысяч светоносных лучей. И одним из этих лучей был ты, Бро. Времени не существовало. Была только Вечность. И в этой Вечной Пустоте сияли мы, двадцать три тысячи светоносных лучей. И мы порождали миры. И миры заполняли Пустоту. Каждый раз, когда мы, лучи Света, хотели создать новый мир, то образовывали Божественный Круг Света из двадцати трех светоносных лучей. Все лучи устремлялись внутрь Круга, и после двадцати трех импульсов в центре Круга рождался новый мир. Мы порождали небесные тела: звезды и планеты, метеориты и кометы, туманности и галактики. Число их росло. И они радовали нас своей Гармонией. Вечная Музыка Света пела в них. Мы сотворяли Вселенную. И она была прекрасна. И однажды мы сотворили новый мир. И одна из его девяти планет была вся покрыта водой. Это была планета Земля. Раньше мы никогда не сотворяли таких планет. И никогда не сотворяли воду. Ибо вода – непостоянна и дисгармонична. Она сама способна породить миры – непостоянные и дисгармоничные. Это была великая ошибка Света. Вода на планете Земля образовала шарообразное зеркало. Как только мы отразились в нем, то перестали быть лучами Света и воплотились в живые существа. Мы стали примитивными амебами, обитателями бескрайнего океана. Наши крохотные тела носила вода. Но в нас по-прежнему был Свет Изначальный, потухший в дисгармоничной, миропорождающей воде. И нас по-прежнему было двадцать три тысячи. Мы рассеялись по просторам океана Земли. Дисгармоничная вода породила не только живых существ, но и время. Мы стали пленниками воды и времени. Потекли миллиарды земных лет. Мы эволюцио-

нировали вместе с другими существами, населяющими Землю. Наш верхний позвонок развился в громадную опухоль, именуемую мозгом. Мозг помог нам лучше других животных ориентироваться в мире. Так мы стали людьми. Люди размножились и покрыли Землю. Зависящие от плоти и времени, люди стали жить по законам мозга. Им казалось, что мозг помогает им подчинять пространство и время. На самом деле он лишь закабалял их в дисгармоничной зависимости от окружающего мира. Людей с хорошо развитым мозгом называли умными. Умные люди считались элитой человечества. Они жили по законам ума и учили этому других. Люди стали жить умом, закабалив себя в плоти и времени. Развитый ум породил язык ума. И человечество заговорило на нем. И язык этот, как пленка, покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть и ощущать вещи. Они стали их мыслить. Слепые и бессердечные, они становились все более жестокими. Они создали оружие и машины. У людей за всю их историю было три основных занятия: рожать людей, убивать людей и использовать окружающий мир. Люди, предлагающие что-то другое, распинались и уничтожались. Порожденные непостоянной и дисгармоничной водой, люди рожали и убивали, убивали и рожали. Потому что человек был величайшей ошибкой. Как и все живое на Земле. И Земля превратилась в самое уродливое место Вселенной. Маленькая планета стала настоящим адом. И в этом аду жили мы. Мы умирали в стариках и воплощались в новорожденных, не в силах оторваться от Земли, которую сами же и создали. И нас по-прежнему оставалось двадцать три тысячи. Свет Изначальный жил в наших сердцах. Но мы не знали этого. Сердца наши спали, как и другие миллиарды человеческих сердец. Что могло разбудить нас, чтобы мы поняли – кто мы и что нам делать? Все миры, созданные нами, были гармоничными и постоянными, мертвыми по земным понятиям. Они висели в пустоте, радуя нас гармонией покоя. В них пела радость Света Изначального. Только Земля нарушала гармонию Космоса. Ибо она была живой и развивалась сама по себе. Земля стала уродливой опухолью, раком Вселенной. Божественное равновесие Вселенной было нарушено. Миры сдвинулись, лилась Божественная Симметрия. И Вселенная, созданная нами, стала постепенно рассеиваться в Пустоте. Но на Землю упал кусок мира Гармонии, созданного нами прежде. Это был один из самых больших метеоритов, когда-либо падавших на Землю. Громадный кусок Небесного Льда, в котором пела гармония Света Изначального, миллиарды лет странствующий по Вселенной. Это был Лед Небесный, созданный по законам Гармонии твердым и прозрачным. По природе своей он отличался от убогого земного льда, образующегося из непостоянной воды, хотя внешне они абсолютно похожи. Пыль Космоса осела на нем, сковала в толстую железную броню. Броня помогла ему преодолеть атмосферу Земли и раскололась при падении. Это произошло 30 июня 1908 года здесь, в Сибири. Лед упал на Землю, вошел в ее почву. Вода сибирских болот скрывает его от людей. Вечная мерзлота помогла сохраниться. Двадцать лет Лед ждал тебя. Он лежит под тобой. Он твой. Он послан сюда гибнущей Вселенной. В нем спасение. Он поможет тебе и остальным пленникам Земли снова стать лучами Света Изначального. Он оживит ваши сердца. Они проснутся после долгой спячки. Они произнесут свои сокровенные имена. И заговорят на языке Света. И двадцать три тысячи братьев и сестер вновь обретут друг друга. И когда найдется последний из двадцати трех тысяч, вы встанете в кольцо, соедините руки и двадцать три раза ваши сердца произнесут двадцать три слова на языке Света. И Свет Изначальный проснется в вас и устремится к центру круга. И вспыхнет. И Земля, эта единственная ошибка Света, растворится в Свете Изначальном. И исчезнет навсегда. И земные тела ваши исчезнут. И вы снова станете лучами Света Изначального. И Свет по-прежнему будет сиять в Пустоте для Себя Самого. И породит Новую Вселенную – Прекрасную и Вечную.

Я открыл глаза.

И увидел утреннее небо. Звезды померкли. Луна побледнела. Лицо мое до самых глаз было погружено в теплую воду. Я пошевелился и приподнял голову. Тело мое лежало в углуб-

лении, образовавшемся во Льду и повторяющем контуры моего тела. Эта естественно получившаяся ванна была наполнена теплой водой. Жар оставил мое тело. Мне было удивительно спокойно и хорошо. Так спокойно и хорошо, как *никогда* ранее.

Я сел. В теле не было усталости от минувшей ночи. Только слегка болела грудь. Я посмотрел на нее: большой синяк выделялся посередине грудины. Этим местом я ударился о Лед. Я улыбнулся. Потрогал грудь. Потом встал.

Сопки на востоке подсветило восходящее солнце: наступал сибирский день. Новый день на планете Земля. Первый осмысленный день моего существования. Я понял, для чего я рожден и что мне надо делать.

Мозг мой заработал.

Углубление, в котором находилось всю ночь мое тело, напоминало букву Ф: руки мои лежали вокруг тела полукольцами. В центре этих полуколец за ночь образовались два продолговатых ледяных выступа, окруженные водой: мои горячие руки растопили Лед вокруг них. Из всех сил я ударил ногой по левому выступу. Он треснул в основании. Я схватил его руками и отломил от основания. Отломив, поднял и прижал к груди. Лед вибрировал. Сердце мое резонировало с ним в такт. Сила Льда наполнила мое сердце. Я легко поднял массивный кусок, показал его бледному утреннему небу.

И закричал.

Крик мой разнесся над болотом, отразился от дальних сопки и вернулся ко мне голосами моих братьев и сестер, затерянных среди людей. Первый солнечный луч ударил мне в глаза. Божественный Лед засверкал на солнце. Надо было возвращаться в мир людей. И искать.

Я положил кусок Льда на плечо и пошел по линзе в направлении, подсказанном моим ожившим сердцем: на запад. Сглаживаясь, линза плавно уходила вниз, под воду. Я погружался вместе с ней, раздвигая зеленую ряску. Погрузившись до рта, я поплыл, крепко сжимая Лед в руках. И вскоре ноги коснулись ила. Здесь он был не такой вязкий, как ранее: под ним чувствовался другой лед – вечной мерзлоты. И оперевшись ногами о земной лед, я спокойно выбрался из болота. Оглянувшись, я посмотрел назад. Ряска мочажины сомкнулась, скрыв глыбу, как будто никто так и не нарушил ее покоя. Я закрыл глаза. Сердце мое почувствовало *всю* глыбу. Она была огромной. Восьмая часть влипла в вечную мерзлоту, под водой был лишь сглаженный, обтаявший в форме линзы край.

Сердце знало: Лед будет ждать столько, сколько понадобится.

Я повернулся и с куском Льда на плече тронулся в путь. Голый, измазанный илом, я шел через мертвую тайгу, залитую солнцем. Сердце мое пело, переключаясь со Льдом и вспоминая мое истинное имя:

– Бро, Бро, Бро...

Я потерял чувство времени и совсем не ощущал ни тяжести увесистого куска на плече, ни острых камней и сучьев под ногами. Обугленный стоячий лес уступил место поваленному. Усеянные лесовалом сопки проплывали мимо. Лед слабо таял на плече, превращаясь в воду. И непостоянные капли ее подгоняли меня. Я шел, твердо зная, куда иду. В голове было ясно: за ночь ее словно вычистили от всего мелкого, тревожного, никчемного. Мысль моя работала удивительно быстро и четко. С каждым шагом я заново открывал мир, в котором прожил двадцать лет. И это наполняло меня новой силой.

Вдруг, спускаясь в лощину, я услышал впереди рычание, хрипы и странный хныкающий звук. Я шел не сворачивая. Рычание усилилось, раздались стоны. Передо мною расступился кустарник. И я увидел, как два медведя рвут агонизирующую стельную лосиху. Один держал ее за горло, другой разрывал ей большое брюхо. Из рта лосихи вырывался хриплый стон, длинные красивые ноги ее бессильно бились по воздуху. Кости лосихи трещали под яростными лапами и клыками медведей. Черное, с белой подпалиной брюхо разошлось, и вместе с розово-желтыми кишками из него вывалился не успевший родиться лосенок. Черноватый, в мокрой

шерсти, с большими влажными глазами, он едва успел зевнуть розово-белым нежным ртом, как медвежьи клыки с хрустом сомкнулись вокруг его головы. Алая кровь новорожденного фонтаном брызнула из медвежьей пасти. Поодаль раздалось ворчание: рослый медвежонок спешил присоединиться к родительской трапезе. Подкатившись бурым клубком, он впился в кишки лосихи, урча от нетерпения.

Эта кровавая сцена посреди мертвого леса наглядно демонстрировала мне суть земной жизни: не успевшее родиться существо стало пищей для других существ. Весь абсурд земного бытия был здесь в этой хрипящей лосихе, в судорожно перекошенных губах лосенка, так и не успевших втянуть в себя воздух Земли, в яростном урчании медвежонка, в неизменно добродушных медвежьих мордах, вымазанных свежей кровью, бьющей ключом из прорванной шейной аорты.

Но хаос земного бытия уже был не страшен мне, познавшему Гармонию Света Изначального. Не дрогнув, я двинулся на зверей. Они повернули ко мне окровавленные морды. Клыки их сверкнули.

Я приближался, неся Лед.

Звери злобно зарычали. Пасти их раскрылись, бурая шерсть зашевелилась от ярости.

Я сделал шаг. Другой. Третий.

Медведи рыкнули и бросились прочь. И я почувствовал: мое проснувшееся сердце испугало их. Я ощутил свою мощь. С проснувшимся сердцем в груди я мог все. Мне нечего было бояться.

Я подошел к лосихе. Тело ее слабо подрагивало. В больших черно-синих глазах стояла влага. Кровь, исходящая паром в утреннем воздухе, толчками вырывалась из аорты. Я поставил босую ногу на плечо животного. Оно было гладким и теплым. Бессмысленная и мучительная жизнь уходила из тела лосихи. Труп лосенка лежал рядом. Она погибла, рожая его, он погубил мать, рождаясь, позволив медведям легко одолеть ее. А медведи просто хотели есть. Закон земной жизни. И это продолжалось сотни миллионов лет. И может продлиться еще миллиарды.

Я сжал Лед. В нем – разрушение дисгармонии.

В нем Сила Вечности.

Пора нанести удар.

Пора исправить ошибку.

Это сделаю я.

Переступив через лосиху, я продолжил путь. Я шел долго. Лед таял на моем плече. Но сердце спокойно вело меня. Наконец, когда солнце стало клониться к закату, я увидел впереди стойбище эвенков: два чума и пустой загон. Олени были на пастбище. Посреди поляны горел костер и варилась оленина в большом котле. Здесь ждали возвращения стада и оленеводов. Возле костра дремали три собаки. Завидя меня, они вскочили и радостно побежали навстречу: в этих диких местах собаки оленеводов и охотников лаяли только на зверей. Но подбежав, они отпрянули, поджав хвосты и рыча. Я шел прямо на левый чум. Туда вело меня сердце. Откинул засаленную полосу из выделанной оленьей кожи и вошел в него. Внутри было сумрачно: свет проникал сквозь дыру в вершине конуса чума и сквозь щели. Посредине, под дырой, стояла тренога с медной чашей. В чаше курилась смола кедра, отпугивая насекомых. Голубоватый дымок поднимался кверху и исчезал в дыре. На шкурах спала девушка. Она была не эвенка, с русыми волосами, заплетенными в две косы, и широкоскулым веснушчатым лицом. Девушка лежала на спине, раскинув руки. Сердцем я понял, что она очень устала и глубоко спала. На ней было простое, но добротное крестьянское платье с запачканным землей подолом. Рядом лежали меховая душегрейка, косынка, кожаный пояс с большим ножом, резной дубовый посох, заплочный, плетенный из лыка кузовок, полный земляники. Поодаль стояли совершенно грязные сапоги с висящими на них портянками.

Я понял сердцем, что шел сюда целый день ради этой девушки. Она была такой же, как и я. Сердце ее так же спало. Надо было разбудить его. Опустившись на колени, я снял Лед с плеча и только сейчас заметил, насколько маленьким он стал. Лед почти помещался в моих ладонях! Большая часть его растаяла в дороге. Надо было торопиться, пока Лед еще со мной. Девушка безмятежно спала. Губы ее раскрылись, уставшее тело с наслаждением отдавалось сну. Я занес руки со Льдом над девушкой. Но остановился: нет, не так. Силы рук моих сейчас не хватит. Я огляделся: поодаль лежала аккуратно сложенная меховая одежда оленеводов. Там же стояли парами кожаные чуни – самодельные полусапожки, перетянутые кожаными шнурками. Я вытащил один шнурок, взял посох девушки и накрепко привязал кусок Льда к посоху. Встав на коленях в ногах спящей, я размахнулся и изо всех сил ударил девушку Льдом в грудь. Лед раскололся о ее грудь, и куски его разлетелись по чуму.

Она же лишь слегка вздрогнула: так глубок был ее сон. Потом вдруг дернулась вся, голубые глаза ее широко раскрылись. Конвульсии охватили ее молодое тело, она забилась, словно в падучей, глаза остекленели, рот стал беззвучно раскрываться. И мое сердце *почувствовало* ее пробуждающееся сердце. Лед разбудил его. Это было как волна. Она пошла от девушки, из ее груди, из ее сердца. И *с силой* хлынула в мое сердце. И затопила его. И застыла, замерла во времени, соединив наши сердца, как мост соединяет два берега. Это было так ново, так сильно и *необыкновенно* приятно, что я вскрикнул. Сердца наши соединились. И я окончательно *понял*, кто я. Я начал жить, соединившись с другим сердцем. И я перестал быть сам по себе. Перестал быть двуногой песчинкой. Я стал *мы*! И это было НАШЕ СЧАСТЬЕ!

Отбросив посох, я обхватил конвульсирующую девушку за плечи, поднял и прижал к своей груди. Она билась, голова тряслась, на губах показалась пена. Я сильнее прижал ее. И вдруг услышал ухом и сердцем голос пробуждающегося сердца:

– Фер! Фер! Фер!

Мое сердце ответно заговорило:

– Бро! Бро! Бро!

Сердца наши стали говорить между собой. Это был язык сердец. Он соединял их. Это было *блаженство*. Никакая земная любовь, прежде испытанная мною, не могла сравниться с этим чувством. Сердца наши *говорили* неведомыми, им одним понятными словами. Сила Света пела в каждом слове. Радость Вечности звучала в них. Они звенели, текли, переливались, затопляли сердца. И сердца говорили *сами*. Без нашей воли и нашего опыта. А нам оставалось лишь впасть в забытие, обнявшись. И слушать, слушать, слушать разговор наших сердец. Время остановилось. Мы *исчезали* в этом разговоре.

И висели в пространстве, забыв, кто мы и где.

Сестра Фер

Я открыл правый глаз. И увидел огромное ухо с серебряной сережкой в форме рыбы. Прямо за ухом виднелись маленькие лица эвенков. Они испуганно смотрели на меня. Некоторые курили трубки. Левый глаз не открывался. Ему мешало что-то мягкое и горячее. Я захотел пошевелить руками. Но не смог: я не чувствовал рук. Я пошевелил головой. Эвенки, заметив это, оживленно заговорили между собой. Возле моего лица зашевелилась чужая голова. Раздался жадный вздох и стон. Голова отстранилась от моего лица. Чужой нос перестал давить на левый глаз. Я открыл его. И увидел лицо девушки. Она смотрела на меня. Взгляд ее голубых глаз был ужасен.

Это была Фер. Сердце мое *все* вспомнило. Я нашел Фер. Фер – моя *сестра*.

Обнявшись, мы стояли посреди чума на коленях: я – голый, Фер – в своем крестьянском платье. Вокруг сидели эвенки. Они оживленно переговаривались и жестикулировали.

Я попытался разжать руки. Но не смог: они онемели и я не чувствовал их. Фер застонала. Дрожь прошла по ее телу, руки зашевелились, вцепились в меня. Она заскулила. Прижалась ко мне, впилась ногтями мне в спину. Ее сердце *тронуло* мое. И снова пошла *волна*. И ударила в мое сердце. И наполнила его. И *потекли* слова сердец. И земля качнулась под ногами. И Вечность проснулась в нас. И время остановилось.

Эвенки загалдели. Кто-то из них тронул мое плечо. И заглянул мне в глаза.

– Как твой памилий? – спросил эвенк.

Сердце его было мертво. А морщинистое, обветренное и узкоглазое лицо я принял за камень. Фер подвывала и вскрикивала. Дрожь охватила ее. Сердца наши говорили. Слова неведомые *бились и рвались*. Свет пел и сиял в сердцах. Фер зарычала, оттолкнула меня, содрала с себя исподницу. Грудину у нее рассекал небольшой шрам от моего удара. Вокруг шрама запеклась кровь. Фер обхватила меня руками. Я ответно обхватил ее. Груды наши тесно прижались. Мы вскрикнули и застонали. Сердце Фер *трогало* мое. Мое сердце *трогало* ее. Вселенная распахнулась вокруг нас. Моча Фер потекла по ее и моим ногам.

Эвенки вскочили и с криками выбежали из чума. Нам стало *очень* хорошо. Потому что мы *нашли* друг друга.

Очнулись мы вечером следующего дня.

Разжав затекшие, посиневшие руки, мы повалились на застеленный шкурами земляной пол. И погрузились в сон.

Нас разбудила пожилая эвенка. Она толкала меня и Фер медвежьей берцовой костью. Когда мы зашевелились, старуха залепетала на своем языке и стала показывать нам костью на выход. Полог был откинут, в нем виднелась все та же мертвая тайга, залитая лучами восходящего солнца.

Фер застонала. И заплакала. Она смотрела на меня и плакала. Потому что наши сердца молчали. Я ударил Фер в грудь. Она вскрикнула и замолчала. Я схватил Фер и прижал к себе. Нам не надо было что-то говорить: мы знали друг друга *очень* давно. Ближе Фер у меня не было никого. Сердца наши изнемогли. Они требовали отдыха.

Я взял Фер за плечи. Разжал свои губы. И впервые за последние дни произнес на языке людей:

– Нам надо идти.

Она разжала свои побелевшие губы:

– Куда?

– Искать других братьев и сестер.

– Зачем?

– Чтобы снова стать Светом.

Фер смотрела мне в глаза. Она *пока* не понимала. Но *поверила* сердцем.

Я помог Фер встать, и мы вышли из чума. В загоне стояли олени. Возле лежали две собаки и копошились четверо эвенков. Завидя нас, голых, эвенки засмеялись и отвернулись. Собаки понюхали воздух и осторожно отошли. Возле чума на воткнутом в землю колу висела одежда Фер и кузовок. Он по-прежнему был полон ягод. Мы схватили кузовок и быстро съели все ягоды. Поверх одежды лежали пучок зверобоя и какой-то корень. Это положила старуха. Фер сбросила их и принялась одеваться. Я стал помогать ей. Старуха, не выходя из чума, что-то выкрикивала. Потом быстро высунулась и погрозила нам костью. Фер оделась, глянула на меня, потом быстро сняла свой кожаный пояс с ножом, взяла кузовок и пошла к эвенкам. Это было *страшно*: Фер отдалялась от меня! Сердце мое *встрепенулось*. Я понял, что не смогу жить без Фер. Если она уйдет – я погибну. Я перестал дышать. Замер. И ждал ее возле кола. Она быстро говорила с эвенками на их языке. Она торговалась. Мне казалось это бесконечным. Я ждал, боясь пошевелиться. Вдруг она вернулась бегом. Без пояса, кузовка и ножа. Обхватила меня руками, радостно закричала и заплакала. Я тоже держал ее в руках. И зарыдал от радости, что она вернулась и что она СНОВА СО МНОЙ! Я словно обрел мою сестру заново – минуту назад ее не было, я слышал только ее голос, говорящий на непонятном языке, и вот теперь Фер здесь, передо мною! Это было чудо. Фер разрыдалась тоже. Обнявшись и рыдая, мы повалились на землю. Рыдания обрушились на нас, как снежная лавина: никогда в жизни я так не плакал. Тело мое тряслось и корчилось, слезы лились ручьями, мне не хватало воздуха, я задыхался, давясь рыданиями, словно свинцовыми шарами. Я раскрывал рот и словно глотал самого себя, терял сознание и тут же пробуждался в корчах, рыдая снова и снова. Уже не было сил, уже опухшие глаза не открывались, уже из груди вырывался лишь хрип, а тело все билось и билось, все корчилось и корчилось. Меня словно *рвало* слезами. С Фер происходило то же самое. Я слышал и *чувствовал*, как она рыдает, и от этого заходилась еще сильнее. Наконец мы потеряли сознание.

Очнулись мы опять в том же чуме. Фер лежала рядом. Я был одет в чуни, штаны из оленьей кожи и в старую, прорванную на локтях холщовую рубаху – на это обменяла Фер кузовок, пояс и нож. В чуме было сумрачно и спали эвенки. Я пошевелил рукой, сел. Тело устало от плача и плохо слушалось. Но в сердце было *очень* спокойно. Оно очистилось. Я осторожно разбудил Фер. Она посмотрела на меня, словно впервые увидела. Потом ее сердце *вспомнило* меня. А мое *откликнулось*. Свет качнулся в них. И *тихо* просиял. Он не покидал наши сердца. Нам даже не надо было обниматься и прижиматься грудью. Мы просто смотрели в глаза. Полежав еще немного, мы осторожно встали. И, поддерживая друг друга, вышли из чума.

В тайге опять был восход солнца. Словно специально для нас он длился бесконечно. Олени и собаки смотрели на нас.

Сердца наши успокоились. Я понял, что Фер *никогда* не покинет меня. Она же поняла, что я *никогда* ее не оставлю. Я разлепил губы:

- Надо идти.
- Куда? – спросила Фер.
- Куда сердце тянет.

Сердце тянуло меня на запад, к людям. И мы медленно пошли на запад.

Солнце встало и ярко светило. Мертвая тайга обступила нас. Здесь, в этом месте, было больше поваленного леса, чем сожженного. Над гниющими замшелыми стволами виднелись молодые лиственницы и сосны. В этой зелени перекликались редкие птицы.

Мы долго шли молча, не разбирая дороги. Потом мои губы заговорили с Фер.

- Ты местная? – спросил я Фер.
- Ага. С Катанги, – кивнула она.
- Почему ты здесь, у эвенков?
- Сбежала.

– От кого?

– От отца.

Я с трудом вспомнил, что такое отец. Потом вспомнил, что такое мать. И мне стало *очень* странно, что у меня они были. Это все было не со мной. Я вспоминал язык людей. Потом я рассказал Фер свою жизнь. И рассказал про Лед. Когда я говорил про Лед, сердце мое тоже стало *говорить* про него. Новые слова *текли и светились*. И сердце Фер внимало. И наполнялось. И отвечало. И пело. И *слова* сердца были сильнее слов человеческих. Губы запинались, язык деревенел. Убогие человеческие слова звучали глухо. А в сердцах сиял Свет Изначальный. Лицо Фер плыло рядом на фоне мертвого ландшафта. И светилось счастьем. В голубых глазах ее лучилось солнце.

Фер на ходу стала рассказывать свою историю. Она выросла на Ангаре в рыбацком поселке, в большой работающей семье. Они жили в достатке, мужчины промышляли охотой и рыбалкой. Потом отец, разругавшись с братьями, увел семью на Катангу. Там в десяти верстах от Ванавары отстроились своим хутором и стали жить. Вскоре мать умерла. Отец привел в дом эвенку. Фер тогда было десять лет. Ее воспитала эвенка. Отец стал пить. Напиваясь, он бил всех, кто попадался под руку. Три дня назад пьяный отец избил Фер за то, что она закричала во сне. Ей приснился очень странный сон: будто покойная мать посылает ее по воду; Фер берет коромысло, два ведра и идет на Ангару; кругом жаркое лето, она бежит к реке; вдруг видит – Ангара замерзла, да не просто как зимой, а *вся*, до самого дна; вся Ангара стала ледяной; Фер спускается с обрыва к реке, подходит и ступает босыми ногами на лед, идет по нему; ей очень приятно, так приятно, как никогда; она чувствует, что ледяная Ангара тоже движется, что у нее есть свое течение, и оно совсем *другое*; ледяная Ангара течет вспять и совсем в другую страну, эта страна *огромная и белая*, она манит и пугает Фер; Фер стоит на движущемся льду и не знает, что делать; страх побеждает, она сходит со льда на берег, смотрит, как утекает лед в *огромную и белую* страну, и плачет от досады.

Когда отец заснул, Фер поняла, что не может больше жить с ним. Она села на лошадь и ускакала. Проехав день, она повстречала эвенков. Они были пришлые, с Вилюя, иначе бы никогда не встали в мертвом лесу. Она продала им лошадь, чтобы добраться до Ангары и с пароходом уплыть в Красноярск. Там Фер хотела поступить на кирпичный завод. В мае ей исполнилось шестнадцать.

Она была неграмотной – читала по слогам, писать не умела вовсе. Зато хорошо говорила по-эвенкийски. Фер сказала мне, что может делать все, если захочет – охотиться, рыбалить, нянчить детей. Язык ее заплетался от *нового* счастья. Нашего счастья. Я крепко держал ее за руку. Мы шли и шли, не разбирая дороги. Потом снова обнялись и упали на колени. И сердца наши опять *заговорили*. И снова вспыхнул Свет. И распахнулась Вселенная. И остановилось время.

Так повторялось много раз. Говоря на своем языке, наши сердца учились новым словам. Сердца крепили. Они мужали и росли. И становились все свободнее и сильнее. Каждый сердечный разговор потрясал нас, *вырывая* из времени и земной жизни. Но после него мы тоже крепчали, как и наши сердца. Мы становились спокойнее и сосредоточеннее. Радостное безумие умножало силу и уверенность. Мы начинали понимать, что вдвоем *можем все*. И стремительно менялись. Мы шли, собирали ягоды и ели их, потом спали, обнявшись, на мшистой земле, потом говорили сердцем, потом снова спали и снова шли. Холод сибирской земли, пробуждающийся по ночам, мы не замечали. Гнус сторонился нас. Четверо суток понадобилось, чтобы добраться до Катанги. Там нас ждало охотничье зимовье, выстроенное на берегу реки между Ванаварой и хутором отца Фер. Зимовьем пользовались только во время зимней охоты. Фер была уверена, что там никого нет. И она не ошиблась. В маленьком бревенчатом домике мы отоспались и окончательно пришли в себя. И я снова сердцем *рассказал* Фер про Лед. Лицо ее засияло от восторга, сердце затрепетало, губы шептали:

- Я хочу его видеть.
- Ты увидишь его, – шептали мои губы.
- Фер яростно схватила меня за плечи:
- Я хочу его видеть!
- Ты увидишь! – Я встряхнул ее.

Наш сердечный восторг быстро сменился желанием *искать*. Оно было таким сильным, что буквально толкало нас в спины. Мы должны были искать сестер и братьев. И это было сильнее *восторга* от сердечного разговора про Лед. Мы стали мудрыми за эти дни. Сердца наши *поняли*, что Лед – всего лишь мост к другим сердцам. Лед – это помощь. Но нам нужны братья и сестры.

Поутру мы вымылись в реке, наелись земляники, густо растущей по небольшим травяным полянам вдоль обрывистого речного берега, и отправились на хутор отца Фер. Для того чтобы *искать* в мире людей, нам нужно было быть *как все*. Это значит – иметь деньги, одежду, еду, оружие. Все это было у отца Фер. Мы осторожно подошли к хутору и затаились в лесу. Фер знала, что отец ищет ее и пропавшую лошадь. Она рассчитывала на то, что его не окажется дома, а мачеха-эвенка не будет препятствовать нам. Но сердце подсказало Фер: отец дома. Мы сидели в лесу и ждали, пока он покинет хутор. По словам Фер, после обеда он может пойти за спиртом в Ванавару. Но отец все не выходил из дома. Наконец он вышел. И сразу раздался женский плач. Отец был уже пьян. Он двинулся вдоль берега в сторону Ванавары. Мы подождали немного и вошли в избу. Мачеха кинулась на Фер с бранью, но я замахнулся на нее посохом, и она с криком залезла под стол. Из-под него вскоре раздалась все та же брань. Мачеха робко выглянула. И вдруг я, увидя ее красивое узкоглазое лицо и грозящий нам маленький кулак, почувствовал сердцем, что разницы между столом и этой женщиной нет никакой. На меня бранился СТОЛ! Я рассмеялся. Фер тоже внимательно взглянула на свою мачеху. И мы впервые *увидели* вместе, сердцами. Под столом сидел человек БЕЗ СЕРДЦА! Вместо сердца в груди женщины работал насос для перекачки крови. Кроме мачехи-эвенки в избе были двое младших сестер Фер. Белокурые и голубоглазые, как и Фер, они с интересом смотрели на нас. Их маленькие кровяные насосы прилежно качали молодую кровь. Мы с Фер переглянулись. И расхохотались. Мачеха перестала браниться и испуганно уставилась на нас из-под стола.

– Анфиска, ты не бойсь, я батяне не скажу, – произнесла младшая из сестер и улыбнулась.

– Батяня тебя таперича до смерти заперет, – произнесла старшая. – Ты пошто лошадь увела?

Фер перестала смеяться и внимательно посмотрела на своих сестер. Она смотрела на них не только глазами. И сердце Фер *не увидело* в них сестер. Они были тоже частью избы, как печка или лавка. Фер отвернулась от них и повернулась ко мне. Я был ее настоящим братом. А она – моей сестрой. Мы обнялись. Потом стали забирать из этого дома все, что нам надо. Мы взяли охотничий нож, топорик, острогу, одежду, ружье, патроны, метрику Фер, песцовую шкуру, а из еды – только лук и морковь. Другая еда нам не показалась съедобной. Денег в доме не было. И я снял с мачехи серебряный браслет, яшмовые бусы и вырвал из ее ушей серебряные серьги с бирюзой. Ее крики меня не остановили. Бывшие сестры Фер плакали. Спустившись по тропинке к реке, мы отвязали самую большую лодку и поплыли вниз по Катанге. Фер села с веслом на носу, я с другим – на корме. Мы подгребали, помогая течению. Река плавно несла нас. Скалистые берега, поросшие тайгой, тянулись вдоль. Жаркое солнце сибирского лета грело нам спины: мы плыли на запад. Наши губы, говорящие на языке людей, не спрашивали друг друга: куда мы плывем? Сердца ведали маршрут. Берега Подкаменной Тунгуски были совершенно безлюдны. Ничто не напоминало о людях. Только птицы кружились над отмелями да играла рыба в воде. Лишь к вечеру на обрыве показались два одиноких сруба. Из трубы одного из них шел дым.

– Беглый поселок, – произнесла Фер.

Река стала плавно поворачивать вправо. И на берегу среди таежной темной зелени появились избы. Беглый поселок, со слов Фер, состоял из бывших каторжников, бежавших и навсегда поселившихся здесь. Они обросли семьями, промыслили охотой и рыбалкой. У мостков стояли лодки и трое женщин полоскали белье. Они крикнули нам. Мы не откликнулись и проплыли мимо. Они смотрели на нас, прикрыв глаза руками от заходящего солнца. Мы миновали еще один поворот и увидели впереди три большие лодки, вставшие у отмели. На берегу горел костер и сидели люди.

– Гоны? – удивленно произнесла Фер.

Неожиданно для себя мы, не сговариваясь, стали выруливать к отмели. Нам *не надо было* миновать этих людей. Пока мы подплывали и причаливали, Фер быстро рассказала, кто такие гоны. Каждое лето девять ангарцев приходят на Катангу, берут три лодки и *гонят* вниз по течению до Енисея. По пути они скупают у местных пушнину. Платят всегда золотым песком и подороже, чем Госторг. Поэтому местные лучшую пушнину придерживают до гонов. Доплыв до Енисея, гоны бросают лодки, грузятся на пароход, который идет в Красноярск, там сбывают товар и живут до весны; весной покупают лошадей, едут на золотой ручей, известный только им, моют золото, затем добираются до Катанги, где в обмен на лошадей местные строят им три большие лодки. Фер сказала, что гоны – люди лихие, суровые. Местные с ними держатся настороженно, только продают товар и харч. Эвенки их боятся. В поселках гоны никогда не останавливаются.

Мы причалили. И подошли к костру. Вокруг сидели девять бородатых мужчин и ели из котла варенную с луком лосятину. Мы поздоровались. Они молча кивнули и продолжали есть, поглядывая на нас. В их манере не было угрозы, но не было и приветливости. Потом один из них узнал Фер:

– Ты никак того пьяницы дочь?

Фер кивнула.

– Совсем спился твой батяня. Всего три шкурки нам сдал.

Фер снова кивнула.

– Все, стало быть, пропил?

Фер опять кивнула.

Она смотрела не на этого гона, а на другого – голубоглазого и белобрысого, с густой рыжей бородой. Я тоже смотрел на него. Сердце мое *торкнулось*. Сердце Фер тоже. Рыжебородый держал в левой руке кусок дымящегося мяса, в правой – нож. Крепкими белыми зубами он хватал кусок, ножом срезал мясо, жевал и проглатывал. Вдруг он замер, перестав жевать. Посмотрел на меня, потом на Фер. И побледнел.

– Чего, понравился парень? – спросил Фер седобородый и горбоносый гон с переломанной ключицей. – Он у нас внове. Стало быть, ему до Енисея – никак нельзя. А вот уж опосля – завсёгда пожалста!

Два гона нехотя усмехнулись, остальные продолжали есть мясо. Видимо, седобородый давно наскучил им своими шутками.

– Жрать хотите? – сумрачно спросил нас коренастый крепкорукый гон.

Но котел с дымящимся мясом не будил в нас никаких желаний. Мы *смотрели* на рыжебородого парня. И *видели* его. Он тяжело вздохнул, распрямляя широкие крепкие плечи, кинул недоеденный кусок в котел, дернул ворот рубахи:

– О-х-ха...

– Чего ты, паря? – спросил седобородый.

– Муторно как-то... – Парень встал, шагнул в сторону.

Его вырвало мясом.

– Фу ты, блядская зараза... – Он сплюнул, подошел к реке, зачерпнул воды большими сильными ладонями и жадно выпил.

– Ишь, меченый, мясом блюется! – злобно усмехнулся маленький плосколицый гон.

– Не твою ума дела, Хорь, – буркнул на него коренастый. – Он тебе не загораживает. Жри, сколько влезет.

Мы *знали*, что рыжебородый наш, но не знали, что делать. Сердца были напряжены и молчали. Я видел этого здорового парня впервые, но сердце мое *знало* его давно. Самое удивительное, что он двигался и вел себя как все, даже не подозревая, *что* дремлет в его груди! Он отплевывался, мыл лицо, бормотал какие-то слова, словно КУКЛА! А сердце у него было живым. Это было так странно и комично, что мы с Фер расхохотались. Парень хмуро глянул на нас и пошел к лодкам. Явно ему было не по себе от нашего присутствия: его сердце забеспокоилось.

– Ишь, смехачи, – прищурился гон со вставными железными зубами. – Весело? Живете хорошо? Не достала вас ыпшо савецка власть?

Он вынул из-за пазухи объемистый кисет с махрой, раскрыл, протянул всем. В кисет полезли грубые руки.

– Вы чего приплыли? – спросил нас молчаливый гон с худым и умным лицом.

– У нас песок, – ответила Фер.

– Сколько?

– Да один.

– Ради тогоплыли?

Фер пожала плечом.

– Она от отца ушла, – заговорил я. – Она жена моя. Плыдем на новое место.

Гоны не выказали особого удивления.

– Ну, давай песка свою, – почесал заросшую щеку умнолицый гон.

Я достал из лодки песцовую шкуру, протянул гону. Он встряхнул ее, понюхал, потом перевернул, оглядывая.

– Ложка, – сказал он быстро.

Нам было все равно. Я кивнул. Гон развязал свою суму, достал чайную ложку и мешочек с золотым песком. Он быстро отмерил чайную ложку песка, ссыпал золотой песок в бумажный фунтик, ловко сложил его, чтобы песок не просыпался, и протянул мне. Песка он запихал в мешок, набитый шкурами.

Гоны, завершив трапезу, стали готовить лодки к отплытию. Это было странно – солнце уже заходило.

– Вы ночью поплывете? – спросил я.

– А как же? – Умный гон завязывал свою суму. – Река пока ровная. А до Енисея – тыщу верст. Ночевать некогда, паря.

– А спите когда?

– Днем на стойке подремем. И хорош.

– В гробах уже отоспимси! – усмехнулся горбоносый.

– А поселок проплыть не боитесь?

– Поселок! Таперича два дни никаких тебе поселков.

Я разговаривал с ними, сердцем следя за рыжебородым. Я *чувствовал* каждое его движение. По сравнению с ним все остальные гоны были просто лодками на берегу. Они ничем не отличались от мачехи Фер, выглядывающей из-под стола. Гоны сели в свои лодки.

Надо было принимать решение.

– Можно мы с вами поплывем? – спросил я.

– Гони. Нам не жалко, – буркнул коренастый, веслом отталкиваясь от берега.

– Однако с Богом, – громко произнес умнолицый гон, и они перекрестились.

Длинные лодки их тронулись. Я посадил Фер в нашу лодку, столкнул ее с отмели, вспрыгнул. Чайки, сидящие на лиственницах, сразу спланировали на отмель к дымящемуся костру и стали клевать блевотину, оставленную рыжебородым.

Мы с Фер взяли за весла.

Гоны редко, но умело подгребали, помогая течению. Лодки их шли караваном, одна за другой. Рыжебородый парень сидел в последней. Наша лодка пристроилась сзади. Правая лодкой, мы поглядывали в белобрысый затылок парня. Он был напряжен и вел себя беспокойно: часто курил, плевал в реку, раздраженно бормоча что-то. Железзубый гон затянул протяжную песню, ее неспешно подхватили остальные. Они пели о покинутом родном доме, о могиле матери, о горькой доли скитальца. Нестройные голоса их разносились над речной гладью.

Солнце скрылось. И на первой лодке зажгли смоляной факел. Река погружалась в нетемную сибирскую ночь. Песня кончилась. И с берега послышался звук валящегося дерева. Он словно подстегнул нас. Сердца наши встрепенулись. Мы по-прежнему не знали, *что делать*, но сердцами поняли – *как*. Я навалился на весло, сидящая ближе к носу Фер навалилась на свое. Лодка наша поравнялась с последней лодкой гонов. Мы приблизились к рыжебородому. Он поглядывал в нашу сторону. Я стал думать, что сказать ему. Но Фер опередила меня:

– Поучи меня грести?

Рыжебородый, не поняв, что она обращается к нему, оглянулся. Но Фер смотрела ему в глаза. Двое гонов, сидящих с ним в лодке, усмехнулись, дымя махоркой. Парень злобно усмехнулся, сплюнул:

– Грести... чего уж...

Казалось, что он обругает Фер. Но рыжебородый, отложив свое весло, схватил крепкими руками борт нашей лодки, подтянул ее и перемахнул к нам. Оставшиеся в лодке усмехнулись:

– Гля, колыванец наш загулял.

– Ну, паря, ты за жаной следи.

Рыжебородый сел посередине лодки, спиной ко мне, лицом к Фер. Она протянула ему весло. Он взял, оглянулся на меня, опустил весло за борт и стал грести. Он волновался и греб слишком старательно и сильно. Мы стали обгонять лодку его напарников.

– Не торопись, – произнес я.

Он снова оглянулся. В сумерках его взгляд показался растерянным. И я понял – ему никуда не деться от наших сердец. Фер тоже *поняла* это.

– Тебя как звать? – спросила она.

– Николай, – ответил он.

– Куды ты рвешься, Никола? – спросила Фер *так*, что у меня от восторга выступили слезы.

Я обожал Фер.

– Как куды? Туды! С ними! – усмехнулся парень, стараясь взять себя в руки.

– Тебе не надо с ними, – произнес я.

– Эт отчаво ж? – Он зябко повел могучими плечами.

– Тебе не надо с ними, – произнесла Фер.

И наши сердца заговорили. Спящее сердце Николя оказалось между нами. Оно *заволновалось*. Он замер с веслом в руках. Я тоже перестал грести. Лодка наша стала отставать от каравана гонов.

– Тебе надо с нами, – произнес я.

– Тебе надо с нами, – произнесла Фер.

Парень замер в оцепенении. Мы тоже замерли. Лодку несло течение. Караван уплывал, огонек факела уменьшался, теряясь в сумраке. Река стала поворачивать вправо. Лодку сносило к берегу. Днище зашуршало об отмель, нос ткнулся в темный берег. Лодка остановилась.

– Нико-ла-а-а-а! – раздался вдали слабый крик.

Парень вздрогнул.

Я положил руку ему на плечо:

– Они не поплывут против течения.

– А ну, не балуй... – пробормотал он, не шевелясь.

Фер взяла его за запястья.

– Вы... кто такие? – спросил Никола.

– Я твой брат, – ответил я.

– А я твоя сестра, – промолвила Фер.

– Мы пришли за тобой, – добавил я.

Минуту он сидел оцепенело. Потом всхлипнул и заплакал. Мы обняли его. Он рыдал, широкие плечи дрожали. В его рыданиях было много детского. Сердце мое чувствовало, что он *устал ждать*. И просто устал. Когда он успокоился и вытер рукавом лицо, мы помогли ему выбраться из лодки на берег, втянули ее на отмель, разложили костер и сели у огня. Никола перекрестился и сбивчиво заговорил. Он не спал уже четвертые сутки, после того как ему было видение. Когда гоны пришли на Катангу в поселок Нерюнду, их ждали три новые лодки, построенные местными. Гоны, как всегда, расплатились за лодки девятью лошадьми и стали готовиться к плаванию. Осталось только просмолить лодки. Смолу растопили в трех ведрах. Одно из ведер взял Никола. Он пошел с ведром и веником к лодке, глянул в ведро и в горячей смоле увидел свое отражение. Это был он, но шестилетний. Он был с отцом, матерью и дядьями на покосе, они сидели за скатертью, постеленной прямо на траве, и трапезничали после косьбы. И вдруг по небу пролетел огонь. А потом загремело так, что лес заколыхался. И все взрослые со страха повалились на землю. А Николе не было страшно, наоборот – было *очень хорошо в груди*. Он сидел и смотрел на небо, где остался широкий след от огня. Когда все стихло, взрослые подняли головы. И Никола *не узнал* их. Отец, мать, дядья навсегда перестали быть для него родными. Их словно отодвинуло. Шестилетний Никола понял, что он *один*. Это так напугало его, что он перестал говорить и *мгновенно* забыл все, что случилось. Заговорил он только через два года. Горячая смола напомнила ему обо всем. Он выронил ведро. И вдруг почувствовал, что он по-прежнему *один* среди людей. Это так потрясло его, что он перестал спать. Ни ночью в пути, ни днем на стоянках, когда гоны дремали, он не мог забыться. Люди пугали его и вызвали недоумение: он не понимал, *кто* они. Гоны заметили, что он странно держится, и стали подсмеиваться над ним. Но коренастый земляк не давал его в обиду. С каждым днем гона Никола чувствовал себя все хуже. Жизнь среди *чужих* людей казалась ему ужасной. Он стал подумывать о самоубийстве. Появление нас с Фер потрясло его: он почувствовал, что мы *другие*. Все происходящее казалось ему сном: он не знал, что делать. Но понимал, что мы пришли *не случайно*.

Выслушав его сбивчивый рассказ, мы с Фер взяли его за грубые, натруженные веслом руки. Мы были счастливы.

– Когда ты родился? – спросил я.

– Три дни после Пасхи в тыща девятьсот втором, – ответил Никола.

– Где ты жил, когда увидел огонь на небе?

– В Усть-Куте, – ответил он.

Это было в семистах километрах от места падения Льда. Я уже *знал* сердцем, что Лед летел с юго-востока на северо-запад. Он пролетал над Усть-Кутом. Сердцем я *позавидовал* Николе: он видел Лед в небе. Я же только слышал его.

– А чево это было? – спросил Никола.

– Наша радость и наше спасение, – ответил я.

Он задумался.

– А чего тебя колыванцем кличут, коли ты с Усть-Кута? – спросила Фер.

– Я в Колывани в тюрьму попал. Потому и прозвали...

– За что?

– Да за конокрадство. Два года присудили, а я с этапу-то и убёг. К гонам и прибился. Он уставился в костер. Пламя играло в его голубых глазах. Я сжал его руку:

– Никола, то, что ты видел, прилетело для нас. Оно упало на землю. И лежит здесь, за Катангой. Нам надо пойти туда.

Никола молча смотрел в огонь. Он оцепенел. Зато Фер заволновалась. Сердце ее *почувствовало* Лед.

– Господи, сердце рвется... – Она положила руки себе на грудь. – Ведь недалеча, а?

– Дня четыре хода, – прикинул я. – Но – быстрого хода.

– А чего будет? – спросил Никола.

– Будет *всё*, – ответил я, помогая сердцем.

И он *понял*, хотя сердце его спало.

Путь назад, ко Льду, стал счастьем для меня, радостью для Фер и испытанием для Николы. Мы с Фер без усталости шли день и ночь по тайге, словно нас подталкивали в спину. Никола переживал почти то, что и я в экспедиции Кулика. Он перестал разговаривать, впадал в ярость, потом плакал. Мы вели его под руки. Есть он так же не мог. Мы с Фер питались ягодами, и голод совсем не мучил нас. После того, как мое сердце заговорило, я навсегда забыл про голод.

Пройдя по руслу Чамбы, мы нашли следы стоянки нашей экспедиции и двинулись по старому следу. Четверо суток для меня пролетели как единый миг. Последние километры мы несли Николу на себе: горячка охватила его тело, он бормотал, не приходя в сознание. Мы же *пьянели* от восторга: Лед приближался с каждым шагом. Мертвая тайга расступалась, пропуская нас к чуду. Сердца наши *предвкушали*. Фер пела и рычала от радости, глаза ее сияли как звезды.

Когда мы вышли к болоту, солнце стояло в зените. Мы опустили Николу на нагретый солнцем мох и стали срывать с себя одежду. Затем, взявшись за руки, вошли в болото. Ледяная вода казалась нам парным молоком. Мы смеялись и плакали: Лед ждал нас!

Трясина хватала нас за ноги, ветки гниющих в болоте деревьев царапали и не пускали, но что могло помешать нам?! Преодолев болотную топь, мы поплыли в полосе воды. И вскоре коснулись Льда. Фер протяжно закричала. Я вытолкнул ее на линзу Льда. И выбрался сам. Глыба невидимо завибрировала под нами. Наши сердца зазвенели ответно. Обнявшись, мы рухнули на Лед...

Очнувшись мы ночью. Мы лежали в ложбине, протаявшей под нами во Льду по контуру наших тел. Теплая вода наполняла ложбину. Мы разжали объятия и выбрались на поверхность глыбы. Скрывшаяся за неплотными облаками луна слабо освещала водную гладь болота. Мы стояли на Льду по щиколотку в воде. Я прошелся по линзе и обнаружил мою впадину, напоминающую букву Ф. Она полностью сохранилась, словно я минуту назад покинул ее. Выступ льда по-прежнему торчал, слегка обтаяв. Другой я отломал и унес с собой, к людям. Фер подошла ко мне. Я взял ее руку и положил на место отломанного ледяного выступа. Она *поняла*, что именно этот Лед разбудил ее сердце. Плача и смеясь, она стала трогать Лед.

Но надо было думать о Николе. Сердце его ждало на берегу. Я ударил ногой по второму выступу. Он не поддался. Я ударил еще, изо всех сил. Он треснул и отвалился. Я поднял кусок Льда и пошел назад. Фер двинулась за мной. Сердце мое запомнило короткий путь до берега. Выбравшись, мы подошли к Николе. Он лежал на спине, раскинув руки. Глаза его были закрыты, губы шептались, бледное лицо выступало в темноте. Я опустился на колени, поднял кусок Льда в руках, размахнулся. И замер. И сердце снова подсказало: я делаю неправильно. Не руками! Для пробуждения сердца нужен *молот*. ЛЕДЯНОЙ МОЛОТ! Вот что поможет будить сердца во имя Света! Вот что нужно нам! Поискав глазами, я увидел неподалеку высохший сосновый сук. Схватив его, я нашел неподалеку свои чуни, вытянул кожаные шнуры. Вдвоем мы

привязали Лед к палке. Маленькие, но сильные руки Фер разорвали рубаху на груди Николы. Я размахнулся и изо всех моих сил ударил его в грудь ледяным молотом. От сокрушительного удара Лед разлетелся на куски, палка переломилась. Грудина Николы ёкнула. Мы припали к ней. В груди послышалось еканье, тело Николы затрепетало, зубы заскрежетали. Наши уши и сердца услышали *голос* пробуждающегося сердца:

– Эп, Эп, Эп...

Тело нашего рыжебородого брата билось, как в падучей. Кровь хлынула у него из носа.

– Эп! Эп! Эп! – пульсировало его сердце.

Оно было большим. И *сильным*.

И мы обняли брата Эп.

Братья

Мы пришли в себя утром.

Эп был слаб, разбитая грудь его болела. Но сердце уже робко говорило с нашими сердцами. Усталость и потрясение обездвижили его сильное тело: он еле шевелился. Из глаз его постоянно сочились слезы. Мы с Фер соорудили шалаш из кустов и молодых деревьев и положили в него брата Эп. Когда он снова заснул, мы с Фер опустились на колени и долго говорили сердцами. В зеленом и грубом шалаше сердца наши *учились* друг у друга и у великого Льда, лежащего совсем близко. Его огромная глыба резонировала с нашими крохотными сердцами. Они же словно были созданы друг для друга. Сердца притягивались, как разные полюса магнитов. Порознь им было сложнее. А вместе они могли *очень* многое. Ощущая пробуждающуюся мощь наших сердец, мы трепетали. Резонируя со Льдом, сердца подсказали нам *решение*. Когда мы очнулись и поели ягод, губы наши озвучили Мудрость Света. Мы заговорили на скупом языке ума, помогая языком сердца.

Надо было идти и искать братьев и сестер. Но Лед должен быть всегда с нами. Так будет удобнее, так будет легче. Он не должен лежать здесь и ждать, пока мы подведем к нему новообретенного брата. Он должен быть всегда под рукой, среди людей. Мы изготовим из Льда ледяные молоты. Десятки, сотни ледяных молотов. Они обрушатся на груди братьев и сестер. И их сердца заговорят.

Три дня понадобилось Эп, чтобы встать на ноги. Проснувшееся сердце помогло его телу. Из подавленного, смертельно уставшего Эп преобразился в неистового и смелого. Он целовал наши ноги от радости, мы же *учили* его неопытное сердце первым словам.

Так нас стало трое. Мы были молодые, сильные и готовые на все ради Света. В шалаше мы решили, как действовать дальше: дождавшись холодной осени, нужно вырубить из Льда несколько больших кусков, перетащить их волоком к Хушме, изготовить плот, погрузить на него Лед и плыть сперва по Хушме, затем по Чамбе до Катанги. Там, на берегу, нужно вырыть яму, положить Лед в навечно промерзшую землю, засыпать. Из этого хранилища брать небольшие куски Льда и отправляться с ними на поиски.

Мы так и сделали.

Два месяца я, Фер и Эп провели в мертвой тайге возле Льда. Мы прожили все это время в шалаше. И были *абсолютно* счастливы. Лед был с нами, сердца наши мужали и мудрели, тела наполнялись *новой* силой. Она была *не только* физическая, хотя мышцы наши стали сильнее, чем прежде. Новая *сила* навсегда победила в нас страх, голод и болезнь. Три великих врага пали поверженными, чтобы никогда больше не воскреснуть в наших телах. Мы питались ягодами и корнями болотных трав. Мы спали на мху, обнявшись и не боясь холода вечной мерзлоты, пробуждающегося в тунгусской земле каждую ночь. По ночам в тайге подвывали волки и рычали медведи, но нас это не страшило: мы сладко засыпали под волчий вой. Звери обходили наш шалаш. Люди также не тревожили нас: после учиненного мною пожара экспедиция покинула местные пределы. Эвенки же по-прежнему опасались «проклятого» места. Всласть наговорившись сердцами, мы жгли костер. Обнявшись, молча смотрели в огонь. Земной, недолговечный, он был слабым отблеском небесного Огня – ослепительного, нетленного, порождающего миры Гармонии.

Сибирское лето кончилось к середине августа: листья кустарника и корявых берез вокруг болота пожелтели. Подул холодный северный ветер. И как-то поутру над нашим шалашом закружились редкие снежинки – провозвестницы долгой сибирской зимы. Первый снег подсказал: пришла пора действовать. Два месяца мы не только говорили сердцем, а нашли самый короткий проход ко Льду и проложили по болоту восемнадцать поваленных бревен. Их засосала топь, но на них можно было опереться. Раздевшись, взяв топор и ножи, мы прошли по этой

гати ко Льду. Вырубив восемь больших кусков Льда, мы перенесли их на берег. Каждый кусок весил приблизительно столько, сколько человек. На берегу мы соорудили из молодых деревьев волокушу и в три захода перетаскивали Лед к Хушме, протекавшей в километре от болота. Эта река была раза в два уже Катанги и не столь высока берегами. Плот мы также собрали загодя из сухих сосновых стволов, связали лыком, содраным с молодых деревьев. Погрузив Лед на плот, мы притянули его к бревнам вымоченным в воде лыком, взяли в руки длинные весла, выструганные Эп, и оттолкнулись от берега.

Водное путешествие заняло трое суток. Наш плот благополучно проплыл по двум рекам и достиг Катанги. Мы *очень* старались доставить Лед в целости. И в пути не позволяли себе сердечного разговора. Студеная вода вынесла нас к тому месту, где мы ночью сидели с Эп у костра, слушая его сбивчивый рассказ. Причалив, мы развязали Лед и перенесли его на берег. Куски слегка обтаяли в пути. Недалеко от берега мы вырыли яму. Долго копать ее не пришлось – уже через полтора метра топор стукнул в скованную вечной мерзлотой почву. Выдолбив в ней впадину, мы уложили семь кусков Льда, укутали мхом и листьями и засыпали землей. Сверху на хранилище Льда мы с Эп навалили увесистый камень. Восьмой кусок зарыли прямо на берегу. Спрятав драгоценный Лед, мы обнялись. Наступила ночь, проглянули звезды. Разложив костер, мы дали волю своим сердцам. Они говорили всю ночь.

Полутру, спустив на воду спрятанную в кустах лодку, мы вырыли восьмой кусок Льда, обернули мхом, положили в лодку и тронулись в путь. Сердца подсказывали нам – надо плыть на запад. Туда и несли нашу лодку воды Катанги. Никто из нас не знал, *где* мы встретим братьев, но сердца помогали искать. Проплыв двое суток по реке, мы увидели большой поселок.

– Это Лакура, – сообщила Фер. – Здесь живут крещенные тунгусы.

Причалив, мы быстро закопали Лед в прибрежный песок и пошли в поселок. Сердца наши были спокойны. Нас встретили эвенки, Фер заговорила с ними. Они рассказали последние новости: русы ходили к «проклятому» месту искать упавшее с неба золото, но бог огня Агды спалил их чум, и они повернули назад. Об этом знали уже все эвенки в округе. Несмотря на православное вероисповедание и старенькую деревянную церковь посреди поселка, эвенки по-прежнему оставались язычниками. Также они сообщили, что гоны, недавно посетившие их поселок, потеряли по дороге одного парня – его унесла дева Воды. Общаться с людьми нам поначалу было непросто: я с трудом сдерживал смех, Эп смотрел на *обыкновенных* людей с недоумением, Фер старательно выговаривала забытые слова. Но сердца и здесь помогали нам, ни на секунду не отпуская нас. Мы стали *мудрыми сердцем*. И знали, *как* вести себя с людьми. Сердца и Лед учили нас многое предвидеть заранее.

Местный батюшка отец Варфоломей был рад встрече с нами. Каждый русский, оказывающийся проездом в Лакуре, становился для него родственником. Первым делом он велел истопить баню. Мы с удовольствием вымыли и пропарили наши тела. Затем попадья-эвенка накрыла стол. Здесь нас ждала неожиданность: обычная пища людей стала для нас, братьев Света, несъедобной. С неприязнью смотрели мы на пироги с рыбой, пельмени с олениной, яичницу на сале, свежеспеченный хлеб и соленые грибы. Во всем этом чувствовалось уродство человеческой жизни, ее несвобода. Людям надо было предварительно *что-то* делать с пищей, прежде чем есть ее: жарить, варить, измельчать, заквашивать, молоть, вялить. При этом они всегда сильно переедали, уродуя излишком пищи свои тела и волю. Но самое чудовищное – люди с удовольствием пожирали живых существ, отнимая у них жизни только для того, чтобы набить их мясом свой желудок. Мясо переваривалось в нем и вываливалось из человека омерзительно пахнущим калом. Воля человека превращала живую птицу в кучу кала – и это было вполне нормально для homo sapiens. Деля эту планету с другими живыми существами, люди пожирали их. Это величайшее уродство называлось законом жизни.

Мы же могли есть лишь свежие плоды и ягоды. Только они не вызывали у нас отторжения. Вообще, после того как наши сердца проснулись, мы стали есть *гораздо* меньше. Горсти

свежих ягод нам хватало на несколько дней. При этом мы не уставали, не теряли силы, как обычные голодающие. Сердце давало нам *великую* энергию. С ней был не страшен никакой голод. Сев за стол, я извинился перед хозяевами и сообщил, что вчера мы сильно отравились рыбой, а следовательно, можем есть сегодня только сырые овощи и ягоды. Поохав, попадья принесла нам репы и брусники. От водки мы тоже отказались. Поп же с попадьею не отказали себе в «удовольствии» выпить за здоровье путешественников. Глядя, как они вливают в себя разведенный водою спирт, чтобы временно потерять контроль над своим телом и чувствами, мы замирали от омерзения. Дикая популярность алкоголя у людей, их зависимость от него лишней раз доказывали неспособность человека быть счастливым. Люди пили водку и вино для того, чтобы «забыться», «развеселиться», «расслабиться», то есть чтобы хотя бы на миг забыть себя, свою жизнь. Напившись пьяными, они чувствовали себя счастливыми.

– Куды ж вы плывете, отроцы? Зима уж на носу! – спрашивал пьянеющий отец Варфоломей.

Мы отвечали, что ищем большую стройку, где можно подработать.

– Оставляйтесь у меня новый храм строить. А то в старом уж куницы ночуют! Я вам заплачу больше, чем советская власть, – уговаривал он.

Но мы не хотели оставаться в поселке: сердца наши *не видели* тут своих. Надо было плыть дальше. Переночевав у отца Варфоломея и прикупив у него моркови и репы, мы вырыли лед, погрузились и поплыли. Подкаменная Тунгуска несла русло на запад, к Енисею. Мы проплыли еще три поселка, останавливаясь в каждом. И не нашли никого из наших. К счастью, похолодало, по ночам стояли заморозки и наш Лед почти не таял. Мы старались не трогать его, что было *тяжело*, плывя с ним в одной лодке. Прикосновение ко Льду *остро* напоминало нам про Свет Изначальный. Сердцам это было *очень* приятно.

Тайга пожелтела и покраснела, готовясь к долгой зиме. Пошел первый снег и накрыл все. Вслед за ним пришел первый холод. Река стала замерзать по краям. Мы плыли посередине, в полосе воды. Над Тунгуской стоял пар. Минуло еще два дня, и река впала в другую реку – широкую и могучую. Это был Енисей. Он нес свои свинцовые воды на север, к Ледовитому океану. Течение его было таким бурным, что лед не успевал накрыть реку – его сносило. Плыть стало труднее – лодку кидало, водовороты крутили ее. Руки наши не выпускали весла. Но сердца *вели* нас. Они говорили нам, что 23 000 человек – крохотная капля в океане людей, но Лед, лежащий здесь, в Сибири, за эти двадцать лет *притянул* к себе многих наших. Они интуитивно направляются к нему, видят мучительно-сладкие сны о нем, ищут его. Спящие сердца их жаждут удара ледяного молота. И мы терпеливо плыли, борясь с сильным Енисеем, грея друг друга стынувшие на ветру руки.

Не успели мы проплыть и полдня, как впереди показалась небольшая пристань. Рядом с ней лепились избы рыбацкого поселка. У пристани стоял маленький парходик-буксир, дымя трубой. Мы решили причалить к берегу и *посмотреть* поселок. Не доплыв немного до пристани, мы вплыли в камыш, вытащили лодку на берег, передохнули, поев моркови и ягод. Затем посреди ивовых кустов стали закапывать Лед в песок. Но не успели мы завершить свое дело, как из кустов вышли трое вооруженных людей бандитского вида.

– А ну, не дыши! – осипшим голосом приказал один из них, черноусый, наводя на нас маузер. – Руки в небо!

Мы подняли руки. Двое других подошли и обыскали нас. Они отобрали у нас золотой песок, деньги, забрали из лодки ружье и патроны.

– Чего зарыли? – спросил черноусый.

Мы молчали. Это было *важное* мгновение. Надо было что-то ответить людям. Мозг мой, как обычно в таких случаях, стал подсказывать, как обмануть этих людей, опутав их искусной ложью для спасения Льда и нас. Но сердце разрубило паутину мозга приказом: *говори правду!* И это был самый верный ход.

– Мы зарыли Лед, – спокойно ответил я.

Фер и Эп *поняли* меня.

– Какой еще лед? – просипел черноусый. – А ну выкапывай!

Мы с Эп вырыли неглубоко закопанный, завернутый в мох Лед. Черноусый подошел, стволом маузера скинул со Льда мох. Глянул, потрогал.

– А ну копай еще.

Он думал, что главные сокровища мы зарыли глубже. Топором и ножом мы прокопали глубже. Черноусый подождал, сплюнул в яму:

– И на хрена вам лед?

Я ответил:

– Чтобы оживить сердца наших братьев и сестер.

Бандиты переглянулись. Усатый усмехнулся:

– И как ты их будешь оживлять?

– Мы изготовим из Льда молот, стукнем в грудь нашего брата. Сердце его проснется и заговорит на языке Света.

Бандиты снова переглянулись.

– Они чокнутые, – сказал один из них усатому. – Вали их к ебням.

Раздался пароходный гудок. Бандиты зашевелились:

– Гробани их, Семен, и – айда.

– погоди, Кочура. Они не местные. Тащи их сперва к Адмиралу. А ну, бери свой лед. И топай с нами.

Я с тихой радостью поднял Лед: он с нами! Бандиты повели нас на пристань. Там было пусто и лежали двое убитых матросов. В поселке слышен был женский плач. Пароходик дал еще гудок. Бандиты быстро втокнули нас по трапу на палубу. Я заметил имя буксира: «Комсомол». Трап убрали. И пароходик сразу тронулся.

Как только мы с Фер вошли на палубу этого убогого буксира с гнутыми ржавыми бортами и закопченной трубой, сердца наши *торкнулись*. На корабле *кто-то* был! Горячий пот радости прошиб меня. Сам по себе я не *знал*, что совсем рядом кто-то из наших. Будучи одной, Фер тоже не *ведала*, кто есть кто. Но вместе с Фер мы составляли уникальный *сердечный магнит*, безошибочно определяющий брата. С Эп такого магнита не получалось.

Нас отвели в кубрик. Там толпились восемь человек. Все они были вооружены. На полу валялись охотничьи ружья, винтовки, звериные шкуры, одежда и нехитрая домовая утварь. Бандиты только что ограбили поселок и разбирали добычу. Главным среди них был человек маленького роста в кожаной куртке, кожаных штанах и высоких ботинках на шнуровке. На груди у него висел большой бинокль, у бедра болталась кобура с маузером. Из-под кожаной фуражки с красной звездочкой выбивались жидкие русые волосы, темно-синие маленькие глазки в обрамлении белесых ресниц холодно посверкивали из-под белесых бровей. Широкое лицо главаря отличалось крайне суровым выражением.

И мы с Фер *увидели* его.

– Козлов, гнида! Расстреляю! – закричал он на усатого. – Где ты шляешься, гад?! Смерти нашей хочешь, провокатор?!

Главарь был явным психопатом. Но хитрым и злым.

– Адмирал, мы тут троих задержали, – засипел усатый. – В кусты пошли оправиться, а они в землю что-то закапывают.

Главарь перевел злобный взгляд на нас. Первой перед ним стояла Фер. Я со Льдом в руках стоял за ней.

– Чего? – отрывисто спросил главарь.

– Лед какой-то... – ответил усатый.

– Чего-чего? – переспросил Адмирал, злобно щурясь.

– Лед, – внятно произнес я и вышел из-за Фер с куском Льда в руках.

Адмирал замер. Узкие лиловые губы его побледнели. Маленькие глазки уставились на Лед. Потом глянул на нас.

– Кто... такие? – с трудом произнес он.

– Я – Бро, он – Эп, а она – Фер, – ответил я. – Мы пришли за тобой.

Он оцепенел.

Гомон бандитов смолк. Все замерли и смотрели на нас. Мы же *смотрели* на Адмирала. Наш сердечный *магнит* работал. Я вспомнил гонов и Николу, сидевшего в лодке между мной и Фер. Ситуация повторялась. Но Адмирал был другим человеком. Страхнув оцепенение, он расстегнул кобуру маузера и навел на нас вороненый ствол:

– А ну, бойцы, вяжите их.

Нас связали. Лед упал на пол.

– А теперь – посадите их в угол. А сами – на палубу, – приказал Адмирал. – Я с ними быстро потолкую.

Бандиты нехотя полезли наверх: в трюме было теплее.

Адмирал стоял с маузером и смотрел на нас. Сердце его *вздрагивало*. Но он изо всех сил боролся с ним.

– Еще раз: за кем вы пришли?

– За тобой, – произнес я.

Фер не успела *помочь* мне. Адмирал зло рассмеялся. Сердце его успокоилось.

– Адмирал, а куда плывем? – свесилась в люк чубатая голова.

– В Колмоторово.

– Так хотели ж в Ярцево наведаться?

– Там ГПУ. Колмоторово, я сказал! – выкрикнул он. – Самый полный! Встречным судам приветствие: три гудка! Пулемет с палубы убрать! Винтовки спрятать!

– Есть... – скрылась голова.

Пароход стал разворачиваться. Чубарый принес пулемет и поставил у ног Адмирала.

– Адмирал, я чего хотел, – забормотал чубарый, – в Ярцеве-то у меня два кореша и еще...

– Задраить люк!! – закричал Адмирал, белея.

Чубарый со вздохом поднялся по лестнице наверх и захлопнул люк. Адмирал подошел ко мне, опустил на корточки. Португеза на нем скрипнула. Он приставил дуло маузера мне ко лбу. И я *почувствовал*, что он захочет выстрелить. Сердце мое *замерло*.

– Так за кем вы пришли? – спросил он второй раз.

И Фер помогла мне.

– Мы пришли за тобой, – *сказали* мы одновременно.

Сердце его встрепенулось. Маузер задрожал в руке. Он выдохнул, опустил маузер и уперся им в качающийся пол кубрика.

– Кто вы? – неуверенно спросил он.

– Твои братья, – ответил я.

– Я сестра твоя, – сказала Фер.

Магнит наш *заработал*. И Эп тоже *помог*:

– Я брат твой.

Широкоскулое и мускулистое лицо Адмирала исказилось: мозг его *яростно* сопротивлялся. Я понял, что Адмирал *страдал* последнее время. Так же, как и Никола. Так же, как и я в экспедиции. Сейчас ему стало *очень* страшно. Тонкие губы его побелели. Пот выступил на бледном лбу. Адмирал задрожал.

– Бляд...ские... – прошептал он и стал поднимать маузер.

Ствол плясал в дрожащей, побелевшей руке. Он громко выпустил газы. И навел маузер на Фер:

– Бля... бляд...ские... гады...

Сердца наши *замерли*. И я *понял*, что мы ВСЕГДА готовы к смерти. Дрожащий палец уже давил на курок. Сердца наши *вздрогнули*. И Лед *ответил* им.

Адмирал в ужасе глянул на Лед. И выстрелил в него. Куски Льда разлетелись по трюму. Мы вскрикнули. Адмирал резко встал. Глаза его закатились. Он пошатнулся и повалился на пол.

Мы стали освобождаться от пут. Богатырь Эп разорвал свою веревку и развязал нас. Фер кинулась ко Льду. Эп – к потерявшему сознание Адмиралу. Я же *моментально* принял решение: пулемет! Новый, с новым диском, он маслянисто поблескивал возле лежащего Адмирала. Точно такой же лежал в сундуке у мешочника Самсона, приютившего меня, подростка, на станции Красное зимой 1920 года. Я схватил его, снял с предохранителя и оттянул затвор, как тогда это сделал Самсон, чтобы напугать приставших к нам в то утро оборванцев.

Эп раздвинул кожанку на груди Адмирала, разорвал гимнастерку и тельняшку. На безволосой груди главаря был вытатуирован орел, несущий в когтях дракона. Фер схватила большой кусок Льда.

– Нет! – шепнул я. – Свяжите его.

Они не поняли. Я показал глазами вверх:

– Нам помешают.

Они все *поняли*. И моментально стянули руки и ноги Адмирала нашими веревками. Эп взял маузер Адмирала. Фер – винтовку. Мы поднялись по железной лестнице, и я постучал в люк. Едва его откинули, я навел толстое дуло пулемета на бандита. Жуя что-то, он попятился. Мы стали подниматься на палубу. Бандиты заметили нас.

– Назад! – скомандовал я.

Они стали пятиться к корме. Большинство из них что-то дожевывали. Я краем глаза заметил на лавке у кормы какое-то мясо в бумаге, хлеб и бутылку с самогоном. После своей работы они решили закусить.

– Стоять! – скомандовал я.

Они осторожно переглянулись. Мозги их *заработали*.

– погоди, браток, договоримся, – просипел усатый. – Вам чего надо?

– Разбудить сердце брата.

Я бы *очень* хотел с ними договориться. Сказать им: «Не мешайте нам. За это мы отдадим вам все, что у нас есть». Но сердце подсказывало: они не исполнят договора.

– Все за борт! – скомандовал я.

– Да чего ты кипятишься, браток, – улыбнулся желтыми зубами усатый и пошел ко мне. – Мы тебе золотишка нысыпем, сколько надо...

Рука его лезла в карман.

Я навел на него дуло и нажал гашетку. Пулемет загрохотал и затрясся в моих руках. Пули впились в тело усатого и вылетели с ключьями одежды и мяса.

Я впервые в жизни убил человека. И понял: с людьми мы НИКОГДА не договоримся. Бандиты кинулись за борт. Но в нас выстрелили из корабельной рубки. Эп стал неумело стрелять из маузера, Фер умело выстрелила из винтовки. Я навел на рубку дымящийся ствол и нажал гашетку. Пулемет снова загрохотал и заходил ходуном в моих руках. Пули вспороли жезь рубки, старая белая краска посыпалась во все стороны. Вместе с ней посыпалась странная надпись суриком ЛОМ О СМОКИНГИ ГНИ, КОМСОМОЛ! с красной звездочкой. Прощив рубку, я отпустил гашетку, но ее заклинило: пулемет продолжал стрелять. Его повело влево, я опустил дуло вниз, пули вспороли палубу, полетели щепки, пулемет грохотал, его вело и вело влево. Задыхаясь от порохового дыма, я задрал дуло вверх. Пулемет строчил и вырывался из моих рук. В эту доли секунды я *понял* сердцем, что такое машина и *почему* она создана людьми: человек не может обойтись без машины, потому что он СЛАБ, он рожден вечным инвалидом

и нуждается в костылях, в подпорках, помогающих ему жить. Машина *уничтожения*, созданная мозгом человека, вырывалась из моих рук. Она *жила*. Пули летели в небо, гильзы дождем сыпались на палубу. Не в силах справиться с ней, я попятился к бортику и отчаянным движением выкинул пулемет за борт. Падая, он продолжал стрелять. Но Енисей поглотил машину уничтожения.

Пороховой дым стелился над палубой. «Комсомол» плыл. Мы ворвались в рубку. Там корчился раненый рулевой в матросской форме. И лежал с открытым ртом мертвый чубарый. Эп встал за штурвал.

– Кто еще на корабле? – спросил я рулевого.

– Кочегары... двое. Они их заперли... Не стреляйте, – простонал он.

– Как туда пройти?

– За камбузом люк...

Мы нашли люк. Он был закрыт на штык. Кочегары работали в котельной, как *части* паровой машины. Мы вернулись в рубку.

– Держи руль, – сказал я Эп.

– Я никогда не правил кораблем, – промолвил он, щурясь на Енисей.

– А я никогда не стрелял из пулемета, – ответил я.

Мы с Фер спустились в кубрик. Связанный Адмирал очнулся и яростно катался по полу, стараясь освободиться. Мы схватили его, прижали к полу. Он рычал и кусался. От него пахло калом: он обмарался, когда *почувствовал* Лед своим неразбуженным сердцем. Мы привязали его к перилам лестницы. Фер схватила кусок льда. Я искал глазами: палки для молота нигде не было. Рядом с ворохом звериных шкур лежало оружие. Я выхватил из груды ружей и винтовок обрез, сорвал с Адмирала португеею. Узким ремнем мы прикрутили Лед к обреза. Фер прижала голову рычащего и воющего Адмирала к перилам. Я разорвал его тельняшку еще больше, размахнулся и изо всей мочи ударил ледяным молотом по его татуированной груди. Раздался треск грудины. Лед брызнул в стороны. Адмирал дернулся и бессильно повис на веревках. Мы замерли: ничего. Его сердце молчало. Но такого *не могло* быть. Мы припали к нему. Стали трясти, тормошить. Его сердце молчало. Только за перегородкой глухо стучало железное сердце паровика.

– Бей еще! Оно не может пробудиться! – закричала Фер.

Но молот был разрушен. Я глянул на пол: он качался, куски Льда скользили в лужах. Фер схватила наибольший. Мы стали привязывать его к обреза. Вдруг Адмирал дернулся. Мы снова припали к его покрасневшей от удара груди.

– Рубу... Рубу... Рубу... – ожило его сердце.

Мы закричали от радости. Сердца наши *подхватили* только что родившееся сердце. Адмирал застонал и открыл глаза. Мы развязали его. И положили на древний кожаный диван. Рубу снова впал в забытие. Сердце его было маленьким и *слабым*. По сравнению с ним сердце Фер казалось могучим великаном.

Я поднялся на палубу. Стоящий у руля Эп кричал. Сердце его *знало*, что случилось в кубрике. Я вбежал в рубку, выхватил у него штурвал. Трясаясь и всхлипывая, он кинулся вниз. И из кубрика раздался его радостный вопль.

Рубу был с нами.

Он оказался бывшим моряком и красным командиром. В свои 37 лет Рубу, а в мире людей – Казимир Скобло, имел крайне цветистую биографию. До революции он мальчиком сбежал из зажиточной семьи на флот, прошел морскую службу на Балтике от юнги до боцмана, затем стал подпольщиком, вступил в РСДРП, вел агитационную работу в Одессе, женился на бомбистке Марине Евзович, был арестован и сослан в Сибирь, жена погибла в Киеве во время теракта, бежал из ссылки в Санкт-Петербург, там жил нелегально и бросил две бомбы, во время Октябрьского переворота был комиссаром матросского полка, работал в ЧК, в Гражданскую

войну воевал на Украине, был комиссаром дивизии «Пролетарский меч», в споре застрелил командира дивизии, за что был приговорен Троцким к расстрелу, бежал к анархистам, командовал пулеметным взводом у Махно, был тяжело контужен в голову, три месяца пролежал в хате на чердаке, под другим именем вернулся к красным, оказался за Уралом, примкнул к красным партизанам, был политруком в отряде, после войны возглавил речное пароходство на Тоболе, потом на Иртыше, обзавелся семьей; три месяца назад бывший дивизионный сослуживец узнал его; не дожидаясь ареста, Казимир Скобло бежал, прихватив деньги пароходства, оружие и документы; скрываясь, организовал небольшую банду, добрался до Енисея, угнал буксир «Комсомол», успел ограбить пять сел и два сухогруза.

Месяца два назад Казимиру Скобло приснился сон: он, семнадцатилетний матрос, в увольнении в Выборге, в маленькой комнате проститутки; они сидят на кровати, перед которой небольшой столик; на нем стоят бутылка пива «Новая Бавария», бутылка сладкой воды «Фруктовый мед», лежат фунтик конфект «Раковые шейки», фунтик французского печенья и пачка папирос «Важные» – все, на что у него хватило денег; у него еще ни разу не было женщины; проститутку зовут Ляля, она уже спала с его друзьями – матросами Наумовым, Сохненко и Грачем; Казимир волнуется, старается вести себя развязно, ему неловко, что член его давно торчит, как палка, топорща черные клеша, проститутка заметила это и подсмеивается над ним; она толкает его пухлым плечом и пускает папиросный дым ему в ухо; он краснеет, глупо смеется, разливает пиво в стаканы, они пьют и курят; проститутка просит налить ей в пиво «Фруктового меда»; Казимир нервно наливает, торопится; стакан проститутки наполнен с мениском; она хохочет и ставит перед Казимиром условие – если он поднесет стакан к ее губам и не разольет – она даст ему, если разольет – выгонит; Казимир не знает – шутит она или говорит правду; он бережно поднимает стакан, несет его к красным смеющимся губам Ляли; вдруг за окном гремит дальний, но *очень* сильный гром; Казимир замирает со стаканом в руке; он смотрит в мениск переполненного стакана и видит, как по мениску разбегаются еле различимые волны, и он *чувствует*, что они от того далекого, но сильного грома; он не может оторвать взгляда от этих крохотных, но стремительных волн и все смотрит и смотрит в стакан; и вдруг в мениске он видит слепую странницу, которая заходила в их дом испить воды, когда ему было восемь лет; она родилась слепой, глаз у нее не было вообще; она лечила болезни и предсказывала судьбу; маленькому Казимиру она сказала: «Когда ты вырастешь и совсем запутаешься в себе и в жизни, к тебе придут два брата и сестра и покажут что-то, что навсегда изменит тебя»; она ушла, и Казимир забыл ее пророчество; вспомнилось оно только сейчас, во время дальнего грома; он роняет стакан, проститутка хохочет, он смотрит на нее – у нее нет глаз; и он просыпается.

Проснувшись, Казимир вспомнил: этот сон-то, что было с ним наяву, когда он семнадцатилетним матросом в Выборге сошел на берег с минного крейсера «Стерегающий». Тогда он уронил стакан. Но проститутка все равно дала ему. И он сразу забыл о своем видении.

Сон стал сниться ему часто. Ночами он мучительно боролся с этим сном, хотел увидеть что-то другое, но тщетно. Днем же он ощущал нарастающее беспокойство, словно *что-то огромное* неумолимо приближалось к нему.

Заговорив сердцем, Рубу понял смысл пророчества и рыдал. Прошлая жизнь казалась ему кошмаром. Как и всем нам.

Мы проплыли по Енисею двое суток. На трети запертые в котельной кочегары сообщили: уголь кончился. Недотянув до Красноярска километров двенадцать, мы посадили «Комсомол» на прибрежную мель и сошли на лесистый берег. С пароходика мы взяли сумку с деньгами, золотым песком и револьверы. Так же мы переоделись: у бандитов, ограбивших пять сел, было достаточно добротной одежды. Рубу был слаб, мы вели его под руки. Но долго идти не пришлось: вдоль Енисея по берегу тянулся тракт. Первому же обозу было приказано доставить больного красного командира в Красноярск. Въехав в город, мы сразу сняли отдельный

домик на окраине и затаились: Рубу нужно было время, чтобы поправиться, его разбитая грудь болела. Но *новое* сердце помогало телу: раны у нас затягивались быстрее, чем у людей. Через четыре дня брат Рубу уже встал на ноги. Мы обняли его. Стоя вчетвером на небольшой веранде, мы молча *радовались* друг другу. Нам не нужны были человеческие слова, легкие и недолговечные. У нас был *свой* язык. Я распахнул окно веранды: в Красноярске еще стояла золотая осень, первый снег не удержался на земле. Мы молча смотрели на улицу с деревянными заборами, березами и одноэтажными домиками. Был вечер. Перелазивались сторожевые псы, где-то пиликала тальянка. По улице поехал пьяный ломовик на пустой телеге. Старая лошадь нехотя плелась. Ломовик стегнул ее вожжами, выругался и, заметив нас, пьяно усмехнулся, кивнув на лошадь:

– Во бессердечная кляча, блядский род!

Рубу *вздрыгнул*. И мы *вздрыгнули* тоже. Бессердечный ломовик упрекал лошадь в бессердечности, избивая ее и эксплуатируя. Это была живая картина земной жизни, наглядный пример «гармонии» бытия. Рубу всхлипнул и схватился за грудь. Дрожь пробежала по его телу, слезы хлынули из глаз. Мы *поняли*: для него наступило время *сердечного плача*. Разрыдавшись, он повалился на наши руки. Рыдания сотрясали его неделю. Очнулся он уже окончательно *другим*.

Мы не знали, что делать в Красноярске: Лед был далеко, сердца наши молчали, Рубу следовало опасаться – ГПУ искало его. Но помощь Света пребывала с нами. И через пару дней мы поняли, что не случайно оказались в Красноярске.

В то утро мы решили *посмотреть* город. Я был уверен, что наш с Фер сердечный магнит поможет найти своих, если притяжение Льда забросило их в этот старый сибирский город. Мы наняли извозчика, сели в коляску и поехали как можно медленнее. Колеса по улицам, мы продвигались к центру. Сердца наши молчали. Наконец мы свернули на главную улицу, Воскресенскую, и поехали по ней. Возле большого дома, напоминающего театр, толпился народ и висели траурные флаги. Ехать дальше было невозможно: впереди стояли конники, топтался духовой оркестр. Кого-то хоронили. Я приказал извозчику разворачиваться. И вдруг из толпы к нам выбежал очкастый молодой человек в чекистской форме, с траурной повязкой на руке.

– Вы с Ачинска? Товарищ Кудрин? – озабоченно спросил он Рубу.

– Да, – неожиданно ответил Рубу.

– Ну что ж вы, товарищи? – укоризненно развел руками очкарик. – Уже скоро вынос, а вас все нет! Идемте, идемте...

Мы сошли с коляски и двинулись за ним сквозь толпу. Стоящие на входе часовые с черными бантами на штыках пропустили нас в здание. В просторном зале было тихо и спокойно. Стоял гроб, убранный цветами и венками. В гробу лежал лысоватый усатый мужчина средних лет в форме чекиста, с орденом. Вокруг стоял почетный караул из местного начальства. Поодаль толпились собравшиеся. Почти все они были военные или чекисты в кожаных пальто и куртках. Женщины, как в православной церкви, стояли отдельно от мужчин. Фер встала с женщинами, я, Эп и Рубу – с мужчинами. Ко гробу вереницей шли прощающиеся – сначала мужчины, потом женщины. Затем прозвучала негромкая команда, гроб подхватили и понесли из зала. Венки стали разбирать.

– Товарищ Кудрин! Этот – ваш... – Тот самый молодой человек протянул Рубу венок.

Рубу взял венок, кивнул мне. Я подошел к нему, и мы понесли венок. На черной ленте золотом было написано: «СПИ СПОКОЙНО, БОЕВОЙ ДРУГ! Чекисты г. Ачинска». Самое поразительное – никто, кроме нас, не претендовал на этот венок. Остальные разобрали свои венки. На улице, едва мы вышли, грянул духовой оркестр. Гроб понесли по Воскресенской. За ним несли венки, неторопливо следовало начальство, шел оркестр, ехала конница со знаменем и валила толпа. В толпе в первых рядах оказались Фер и Эп. Идя в ногу с Рубу, я вдруг испытал легкое *возбуждение* сердца. Оглянувшись, я встретился взглядом с Фер. Но она пожала

плечами. Я же *почувствовал*, что мы не случайно попали на эти похороны. Судя по всему, хоронили главного чекиста Красноярска.

Дойдя до кладбища под траурный марш, мы встали вокруг свежeverытой могилы. Гроб поставили на деревянный подиум, обитый красным сатином и черным крепом. Рядом с гробом поставили фанерный куб, крашенный суриком. Толпа расступилась, и на куб взошел чекист средних лет в форме, с двумя орденами. Я не видел его в зале во время прощания. Вероятно, он приехал только что. Его волевое, умное и грубоватое лицо обрамляла небольшая светло-каштановая борода, такие же волосы были не очень гладко зачесаны назад. Серо-голубые глаза смотрели сурово. Он окинул ими толпу, качнул покатыми плечами, привычно вцепился левой рукою в ремень, правую сжал в кулак. И заговорил:

– Товарищи! Смерть вырвала из наших рядов боевого друга, соратника по борьбе, неутомимого борца за пролетарское дело и мировую революцию товарища Валуева. Не выдержало горячее сердце верного солдата революции. Сгорел в борьбе и партийной работе яркий коммунист, железный чекист, человек широкой души и ленинско-сталинского характера. Перестало биться горячее сердце чекиста...

Он резко замолчал. А мое сердце *встрепенулось*.

Он сделал паузу, набрал побольше воздуха и продолжил:

– Всем нам горько сегодня зарывать тебя, коммунист Петр Валуев, в сырую землю. Но мне, твоему старому товарищу, особенно горько. При кровавом царизме встретились мы с тобой, Петр Фролович. Сослал нас царь в один и тот же городишко, в Обдорск, за нашу подпольную революционную работу. Чтобы мы с тобой, значитца, сидели там тихо, не агитировали, не буравили угнетенный народ. А мы с тобой тогда взяли, да и показали этим гадам – во! – Он резко и яростно выбросил вперед кулак.

Впалые щеки его моментально налились кровью.

Мое сердце почувствовало, как *встрепенулось* сердце Фер. Наш *магнит* заработал: мы узнали брата! Слаще этого мгновенья для наших сердец не было ничего. Я закрыл глаза. Этот решительный чекист был *наш*. Вот почему мы оказались в Красноярске.

Я открыл глаза. Чекист страстно говорил, помогая себе кулаком. Лицо его горело негодованием. Он *очень* не хотел верить в смерть. Я перевел взгляд на Рубу. Его неопытное сердце еще *не знало*. Но мозг его узнал выступающего.

– Кто это? – спросил я.

– Дерибас. Начальник ОГПУ Дальнего Востока.

Я сжал пальцы Рубу, держащие венок. Он посмотрел мне в глаза. Лицо мое светилось радостью.

– Да! – шепнул я.

И сердце Рубу *поняло*. Рубу задрожал, и слезы потекли из его глаз. Мы перевели свои восторженные взгляды на нового брата. Который ни о чем не догадывался.

– Не в бою пал ты, дорогой товарищ, не под Херсоном от белогвардейской сабли, не в Павлодаре от пули контры. На другом фронте довелось помереть тебе, Петр Фролович. На фронте архитязелой и архинужной борьбы с контрреволюцией, с недобитками, с попрытавшимися гадами и врагами народа. За наше светлое будущее, за великие идеи Ленина-Сталина. Наша партия, наш народ, наши чекисты не забудут тебя, коммунист и чекист Петр Валуев. Спи спокойно, дорогой товарищ!

Он сошел с красного куба.

Потом выступали секретарь обкома и сослуживцы покойного.

Гроб закрыли крышкой, забили. Опустили в могилу. И стали быстро засыпать. Какой-то чекист махнул рукой, и спешившиеся конники дали залп из винтовок. Махнул еще раз – и оркестр заиграл «Интернационал». Стоящие вокруг могилы запели.

В свежий холм воткнули красную звезду и обложили венками. Мы с Фер, не сговариваясь, пошли через толпу к Дерибасу. Он стоял с секретарем обкома и курил. Вокруг них толпились чекисты.

– Товарищ Дерибас! – громко обратился я к нему.

Чекисты обернулись к нам. И охрана сразу встала у нас на пути. Дерибас поднял на нас суровые серо-голубые глаза.

– У нас к вам очень важное дело, – сказал я.

– Ты кто? – отрывисто спросил Дерибас.

– Твой брат.

Он внимательно посмотрел на меня. Сердце его было абсолютно спокойно.

– Как тебя зовут?

– Бро.

И тут сердце его *вздрагнуло*. И мы с Фер *почувствовали* его.

– Как? – переспросил он, хмуря брови.

– Бро! – громко повторил я и взял Фер за плечи. – А это твоя сестра Фер.

Впалые щеки Дерибаса побледнели. Сердце его *вспыхнуло*. Но *очень* сильная воля боролась с сердцем. *Сдерживала*. И сердце отступило. Стараясь не показать внутренней *борьбы*, он докурил. Кинул окурок, наступил на него:

– Михальчук, арестовать.

Чекисты наставили револьверы. Нас обыскали, отобрали мой вальтер и браунинг Фер.

– На паровоз их, – скомандовал Дерибас. – В дороге потолкуем.

Нас повели через толпу. Я мельком увидел Эп и Рубу. Замерев, они смотрели на нас. Но мы спокойно шли, не подавая никаких знаков: как обычно, мы *не знали*, что делать, но *верили* своим сердцам. Чекисты доставили нас на вокзал. Там стоял оцепленный охраной паровоз с двумя вагонами. Нас провели во второй вагон и заперли в купе. Мы радостно обнялись: еще один брат найден! Сердца наши заговорили. Они уже хорошо знали друг друга и умели набираться силы от сердечного разговора. Мы не заметили, как поезд тронулся. Прошло какое-то время, и наш сердечный разговор был прерван: дверь открыл часовой. Рядом с ним стоял чекист.

– На выход! – скомандовал он.

Мы вышли из купе и двинулись по коридору. Вагон был полупуст. В купе сидели немногочисленные солдаты охраны. Мы прошли через тамбур и оказались в вагоне первого класса, переоборудованном для поездок высокого начальства. Большая часть перегородок была снесена, вдоль зашторенных окон стояли диваны, на полу лежали ковры, в углу возле окна стоял пулемет и дремал пулеметчик. За большим столом восседал Дерибас в окружении четырех чекистов в форме и двух партийцев в типичных кителях. Они только что пообедали: солдат и женщина в белом переднике убирали грязную посуду. На столе стояли две пустые бутылки из-под шустовского дореволюционного коньяка. Дерибас распечатал пачку папирос «Пушки» и положил на центр стола. Он выглядел усталым. Сердце его *не остерегалось* сильных переживаний. Но мозг подавлял их. Судя по осунувшемуся, хотя и порозовевшему от алкоголя лицу, он похоронил сегодня близкого друга.

Сидящие закурили.

– Вот познакомьтесь, товарищи, – заговорил он, сильно затягиваясь папиросой, – перед вами мой брат и моя сестра.

Сидящие за столом посмотрели на нас. Он продолжал:

– Такая вот наша чекистская жизнь – хороним друзей, находим родню. И у этой родни в кармане по пистолету. Неплохо?

Партийцы усмехнулись. Чекисты спокойно курили.

– Ты кто? – спросил меня Дерибас.

– Я Бро, – честно ответил я.

– А ты? – он кольнул взглядом Фер.

– А я Фер.

– Кто вас подослал?

Фер молчала: она не знала, *как* выразить на языке людей нашу правду.

Ответил я:

– Свет Изначальный. Который есть в тебе, во мне и в ней. Свет. Он живет в твоём сердце, он хочет проснуться. Всю свою жизнь ты спал и жил как все. Мы пришли, чтобы разбудить твоё сердце. Оно проснется и заговорит на языке Света. И ты станешь счастливым. И поймешь, кто ты и для чего пришел в этот мир. Сердце твоё жаждет пробуждения. Но разум боится этого и мешает сердцу. Прошлая бессмысленная жизнь не отпускает тебя. Она хочет, чтобы ты по-прежнему спал, а сердце спало вместе с тобой. Она висит на сердце, как мешок с камнями. Сбрось ее. Доверься нам. И сердце твоё проснется.

Я замолчал.

Дерибас переглянулся с сидящими. Подмигнул им:

– Вот такие пироги! Я скоро проснусь, товарищи коммунисты.

Партийцы рассмеялись. Чекисты сердито глядели на меня. Но наш *магнит* работал: Фер *сильно* помогала мне. Сердце Дерибаса *затрепетало*. Но он боролся до последнего: *смертельно* побледнев, продолжал шутить:

– И как же вы его разбудите? Пулей?

– Нет. Ледяным молотом. Мы сделаем его изо Льда, посланного на землю, чтобы разбудить наше братство. Это Лед Вечной Гармонии, Лед, который создали мы с тобой, когда были лучами Света. Мы совершили Великую Ошибку и попали в ловушку. Лед вернулся к нам, чтобы спасти нас. Чтобы мы снова стали Светом, чтобы исчезла навсегда эта уродливая планета. Ледяной молот ударит тебе в грудь. И сердце назовет твоё истинное имя.

Он слушал, оцепенев. Его нервы были на пределе. Мы *почувствовали* его сердце, как загнанного в угол зверька.

– М-да... – Дерибас разжал побледневшие губы, неловко усмехнулся. – И вот таких психов у нас, в Сибири... это самое... таперича много, очень много...

У него уже не получалась шутка.

– Нет, нас очень мало, – произнесла Фер.

– Нас всего двадцать три тысячи. И ты – один из них, – добавил я.

Он яростно глянул на меня, рванул ворот гимнастерки и стал приподниматься. Рука его тряслась, борода задрожала.

– Ты... ты... враг... – прошипел он.

Глаза его закатились, и он повалился в обморок. Чекисты подхватили его. Партийцы вскочили.

– Устал... с сердцем плохо, – пробормотал один.

– Врач есть? – засуетился другой.

– Врач не нужен, – ответил я.

Партиец кивнул чекистам:

– Убрать этих...

И нас увели в наше купе. Но ненадолго. Через час меня снова повели к Дерибасу. Он лежал на диване у себя в просторном купе. Рядом сидели партийцы и чекист. Окно открыли, ветер трепал шторы. Громко стучали колеса. Дерибас был бледен. Он сделал знак мне. Я сел.

– Выйдите-ка, я с ним поговорю... – произнес Дерибас.

– Терентий Дмитрич, тебе отдохнуть бы надо, – возразил партиец.

– Выйди, выйди, Петр...

Они вышли. Я остался сидеть. Дерибас долго смотрел на меня. Но уже без страха и ярости.

– Ты знал моего деда? – наконец спросил он.

– Нет, – ответил я.

– А кто тебе сказал про лед?

– Лед.

Он выдержал паузу:

– Это кличка?

– Нет. Это Лед, прилетевший из космоса и упавший возле Подкаменной Тунгуски.

– И он умеет разговаривать? У него рот есть?

– У него нет рта. Но есть память о Свете Изначальном. Я слышу ее моим сердцем.

Дерибас внимательно смотрел на меня. Фер не было рядом, и наш сердечный *магнит* не работал. Разум вновь заковал сердце Дерибаса в броню.

– У тебя есть трое суток до Хабаровска. Если не скажешь, кто вас подослал и где ты услышал про лед, на землю с поезда сам не сойдешь. Тебя на нее скинут. Понял?

– Я уже сказал правду, – ответил я.

Он позвал охрану, и меня увели к Фер.

Мы ехали до Хабаровска почти четверо суток. За это время никто нас больше ни о чем не спрашивал. Когда охрана принесла нам еду – вареный картофель, мы отказались. Тут же пришел молодой чекист, спросил, почему мы не едим. Мы рассказали о своих предпочтениях. Нам принесли четыре морковки. Мы съели их. И говорили сердцем в полутемном купе с зарешеченным окном. И купе *раздвигалось*. И мы повисали в бездне. Среди звезд и Вечности. Свет сиял в наших сердцах. Они становились сильнее. Мы узнавали все новые и новые слова Света, мы совершенствовались. И забывали про *тяжелый* мир людей. Сразу по прибытии в Хабаровск он напомнил о себе.

Едва поезд остановился, нас повели к Дерибасу.

Он стоял в своем купе, одетый в кожаное пальто.

– Ну что? – спросил он, закуривая. – У вас два пути: на землю и под землю. Если вы говорите, кто вас подослал и кто рассказал вам про лед, вы идете по первому. Если не говорите – идете по второму. *Tertium non datur*, – добавил с чудовищным выговором.

Мы молчали. Но наш *магнит* заговорил.

– Надумали? – продолжил он и *почувствовал* нас.

Его броня дала трещину.

– Мы пойдем по первому пути, – сказал я. – И ты пойдешь с нами. После того, как Лед разбудит твое сердце. Лед, который ждет тебя.

Он побледнел. Разум его снова стал бороться с сердцем. И уцепился за смех.

Дерибас нервно рассмеялся.

– Сережа! – позвал он.

В купе вошел молодой чекист.

– Слушай, что мне делать с этими петрушками? – спросил он с усмешкой, стараясь не смотреть на нас.

– Товарищ Дерибас, давайте я их допрошу. У меня и глухонемой заговорит.

– Может, они и впрямь чекалдыкнутые? Лед, едрена вошь... Где этот ваш лед?

– В четырех днях хода от Подкаменной Тунгуски. А часть его закопана на берегу.

Сердце его *трепетало*. Разум отступал, но медленно. Дерибас кинул недокуренную папиросу на ковер:

– Черт бы всех подрал! У меня друг умер, контрики шевелятся, а тут – лед, блядь! Сережа, в подвал их. И допроси, чтоб заговорили.

Он раздраженно и с *облегчением* вышел из купе. Молодой чекист был в недоумении: с его железным шефом что-то происходило. Каток воли, которым Дерibas умело давил и сокрушал людей, против нас не работал.

С вокзала нас отправили в здание ОГПУ, расположенное на Волочаевской улице, и поместили в разные камеры. Они находились в подвале и были переполнены. В моей камере в основном сидели бывшие состоятельные люди, потерявшие все после революции. В камере Фер – их жены. Теперь беспощадная советская власть забирала у этих людей последнее – свободу и жизнь. Их обвиняли в контрреволюционных заговорах, сокрытии золота и антисоветской агитации. Мужчины были измотаны допросами и теснотой мрачной камеры, некоторые – сильно избиты. Страх парализовал этих людей, они разговаривали вполголоса, молились и тайком плакали. За стеной моей камеры сидели уголовники, которые громко перебранивались и часто пели: новая власть относилась к ним мягче, чем старая, считая их социально близкими пролетариату, но заблудшими.

Оказавшись в подвале ГПУ, я вслушался в негромкие разговоры арестованных. Из них выяснилось, что в городе и во всем Дальневосточном крае два всевластных человека – председатель ГПУ Дерibas и секретарь крайкома партии Картвелишвили. Они полновластные хозяева Дальнего Востока. Но последнее время они не очень ладят между собой. Дерibas, по словам арестантов, оказался сущим злом, свалившимся на Хабаровск из Москвы. Он был суров и беспощаден ко всем «бывшим», аресты шли непрерывно. Один из заключенных, воевавший в Гражданскую на стороне белых, сказал, что у Дерibasа есть стойкое убеждение, ставшее руководством к действию: все «бывшие» должны либо копать землю на сталинских стройках, либо кормить червей. Озвучивая эту максиму на допросах и очных ставках, Дерibas обычно добавлял свое неуклюже произносимое *tertium non datur*. Соответственно, арестованные «враги народа» приговаривались к длительным срокам лагерей или к расстрелу.

Ночь я провел в полудреме, стараясь *дотянуться* до сердца Фер. И на рассвете мне удалось это. Сердца наши *коснулись* друг друга через кирпичные стены подземелья. Это был чудо, подаренное Светом. Теперь нам стало гораздо легче: я мог в любой момент заговорить с сердцем Фер, она тоже чувствовала меня. Мы могли *помогать* друг другу, используя сердечный *магнит*. На следующее утро я *его* впервые использовал.

Едва арестанты позавтракали мучной баландой и сухарями, как меня повели на допрос к тому молодому чекисту из поезда Дерibasа. Восседа за столом, он представился следователем Смирновым и потребовал, чтобы я назвал «соучастников по контрреволюционному заговору». В случае отказа он пообещал «отбить мне потрох».

Сердце подсказало: пора действовать. Я ответил, что готов назвать пославших нас, но только лично Дерibasу и на очной ставке с Фер. Через час меня и Фер привели в кабинет Дерibasа. Он был один, сидел за столом и что-то писал. Над ним висели два портрета – Сталина и Карла Маркса. Пока он писал, мы с Фер настроили наш *магнит*. Дерibas поднял на нас глаза. И сразу отвел их в сторону. И я почувствовал, что мы стали первыми людьми в его жизни, которых он *не понимал*. А значит – не знал, как обойтись с нами. Просто расстрелять он нас не мог: *что-то* мучительно мешало ему это сделать. Служа в карательных органах, он сталкивался с разными арестантами. Ему попадались мужественные белогвардейцы, готовые на смерть и плевавшие ему в лицо, непримиримые священники, видящие в коммунистах демонов ада, яростные заговорщики-монархисты, молящиеся убиенному царю, фанатичные эсеры, считающие большевиков предателями революции, анархисты, не ценящие свою жизнь, и просто сильные духом люди. Всех их перемолола машина ОГПУ, к каждому из них у Дерibasа был свой подход. Каждого из них он понимал, для каждого в его сознании была своя полка. Нас он понимать отказывался. Потому что был такой же, как и мы.

И я рассказал ему все, что я *знал* про Лед.

Он слушал с каменным лицом, не поднимая глаз.

– Вот что я решил, – проговорил он, подрагивающими пальцами доставая папиросу. – Сегодня же я отправлю людей на Подкаменную Тунгуску, к тому месту, где вы зарыли куски вашего льда. Чтобы его доставили сюда в целости и сохранности. Если льда там нет – я лично расстреляю вас.

Нас увели.

В камере я стонал и рычал от восторга, пугая «бывших». Мы *пробили* железный панцирь Дерибаса! Его приказ об экспедиции на Катангу по логике ОГПУ выглядел чистым безумием. Любой другой чекист его ранга давно бы приказал подвергнуть нас пыткам, а потом расстрелять. На следующий день он бы забыл про двух безумцев, говорящих о Льеде, прилетевшем из космоса. А наши простреленные сердца благополучно бы впустили в себя могильных червей.

Но не на радость могильным червям проснулись наши сердца. А чтобы будить спящих. Сердечный *магнит* медленно, но верно притягивал «железного» Дерибаса. Чекистская экспедиция вернулась через две недели. И чекисты привезли Лед! Сердца в наших телах, запертых в подземелье, забились.

Мы увидели наш Лед в кабинете у Дерибаса. Один из семи кусков лежал на серебряном подносе. Дерибас сидел за своим столом. За две недели он осунулся и похудел. В его светло-каштановых волосах и бороде проступила седина. Рядом с ним стояли двое охранников: он *боялся*.

– Ты сказал правду. – Он закурил, выпустив дым так, словно стараясь заслониться им от нас. – Зарытый вами лед нашли. Семь кусков.

Мы подошли ко Льду и положили на него руки.

Дерибас не препятствовал. Он сидел, закрыв глаза. Он *окончательно* потерял себя. Мы же блаженствовали, *говоря* со Льдом.

– И что... теперь? – пробормотал Дерибас, словно спрашивая себя.

– Теперь прикажи принести сюда простую палку и кожаный ремешок, – сказал я.

Дерибас поднял телефонную трубку:

– Пospelов, принеси мне простую палку и кожаный ремешок.

Когда приказание было исполнено, я попросил Дерибаса удалить охрану и запереть дверь на ключ. Охранники не смотрели на нас и на него как на сумасшедших: кабинет главного чекиста Дальнего Востока видал и не такое.

Дерибас приказал охране выйти. Затем тяжело встал и пошел к двери. До нее от стола было метров восемь. Для него они стали восьмью километрами. Я никогда не забуду, *как* шел этот сломленный нами человек. Ссутулившись, он еле перетаскивал ноги в скрипучих сапогах. Голова его подрагивала, рот полуоткрылся, сильные руки потомственного крестьянина висели как плети. Он словно тащил себя к двери. Чтобы навсегда запереть ее. И оставить за ней страшный мир людей.

Дойдя до двери, Дерибас повернул торчащий ключ в замке и уперся лбом в дверь.

– Я вас... застрелю... – прошептал он.

Но безвольная рука даже не смогла подняться к кобуре. Лишь оцепеневшие пальцы сжались. И разжались. Я резко повернул его спиной к двери, расстегнул гимнастерку на груди и разорвал нательную рубаху. Креста не было на его шее.

Мы с Фер подняли Лед и бросили на пол. Он раскололся. Мы схватили подходящий кусок, привязали ремешком к палке. И приблизились к Дерибасу. Он оцепенел и *ждал*. Ждало его сердце.

Я размахнулся и ударил его ледяным молотом в грудь. Он коротко вскрикнул и, потеряв сознание, стал падать на нас. Мы подхватили его и положили навзничь на пол. Удар был силен: из рассеченной грудины потекла кровь. Глаза Дерибаса закатились, тело затрепетало и задержалось, как при эпилептическом припадке.

Мы ждали пробуждения сердца.

Оно *затрепетало*. И вдруг остановилось.

Дерибас перестал дергаться. Мы замерли. Лицо его *смертельно* побледнело. Сердце не билось.

В дверь постучали. И голос секретаря спросил:

– Товарищ Дерибас?

Он почувствовал, что в кабинете что-то произошло. И сразу зазвонил телефон на столе.

Дерибас лежал перед нами бездыханный.

– Товарищ Дерибас! – громче спросил секретарь и стукнул в дверь.

Но Дерибас не отвечал ни нам, ни людям.

– Ломайте дверь! – закричал секретарь.

Охранники навалились на дверь. Я замер. Потому что не знал, *что* надо делать. Сердце Дерибаса не выдержало удара. И вдруг Фер вцепилась в его плечи, встряхнула:

– Братик, говори сердцем! Братик, милый, родной, говори сердцем!

Сердце молчало.

Трещала дверь.

Фер легла на Дерибаса, обняла его, сжала. Из рта ее вырвался пронзительный крик. И *я почувствовал*, как ее сердце *встряхнуло* остановившееся сердце нашего брата.

И оно ожило.

– Иг, Иг, Иг, – заговорило оно.

Мы закричали от радости.

Дверь распахнулась, в кабинет ворвались чекисты. Но мы не заметили: лица наши припали к окровавленной груди, сердца *ловили* голос пробудившегося сердца, губы повторяли имя брата:

– Иг! Иг! Иг!

Меня ударили рукояткой нагана по голове, и я потерял сознание.

Очнулся я в карцере.

Было почти темно: свет пробивался из-под железного «намордника» на маленьком подвальном окне. Я лежал на мокром полу. Он пах человеческой мочой. Я приподнял голову и потрогал ее: на затылке большая шишка, волосы склеились от запекшейся крови. Я осторожно встал, держась за стену. Голова слегка кружилась. Но сердце билось ровно: оно *отдохнуло*, пока я лежал без сознания. Я осмотрелся: в карцере не было ничего. Я осторожно прошелся. Голова болела. Я приложил ее к прохладному «наморднику». И вспомнил все.

Сердце радостно *затрепетало*: у меня есть брат Иг!

Я застонал от радости, закрыл глаза и улыбнулся в темноте.

Сердце мое стало *искать* Фер. Толстые кирпичные стены не помешали: Фер была рядом, в камере. Мы *заговорили*. И нам стало *очень* хорошо...

Прошли несколько суток.

Я очнулся от скрежета засова. Дверь распахнулась, тюремщик мотнул головой:

– На выход.

Я вышел из камеры. И вскоре стоял в кабинете начальника следственной части Кагана. Маленький, смуглый, с жестоким и умным лицом, он стал задавать мне вопросы о происшедшем. Я понял, что *ему* не надо говорить правду. Поэтому я сказал, что Дерибас допрашивал нас, потом у него случился эпилептический припадок, он упал и ударился грудью о стол. А мы старались помочь ему. Этот ответ, как ни странно, удовлетворил Кагана. Повертев в руках остро отточенный карандаш, он нажал кнопку звонка.

Меня отправили в общую камеру.

А еще через пару дней нас с Фер отвезли в больницу, где лежал Иг. У входа в отдельную палату сидел охранник в наброшенном на гимнастерку белом халате. Он открыл дверь и впустил нас в просторную и светлую палату. На единственной кровати лежал Иг. Он почти полностью пошедел. Лицо его сияло *невыразимой* радостью. Мы бросились к нему, обняли. И он зарыдал от счастья. Сердца наши стали *трогать* его проснувшееся сердце. Оно было таким *юным*! Иг вздрагивал и плакал.

Мы учили проснувшееся сердце первым словам.

Вошла полная и румяная докторша.

Завидя нас, обнимающих плачущего Иг, она расплылась в улыбке:

– Так это и есть ваши родные, товарищ Дерибас?

Иг кивнул.

Она поставила на тумбочку мензурку с лекарством, вздохнула, колыхнув своей большой грудью:

– Какое это счастье – найти на земле родного.

Мы были *полностью* согласны с ней.

В этот же день нас освободили, и заместитель Иг чекист Западный поздравил нас: в управлении уже все знали, что Дерибас, потерявший свою семью в Гражданскую войну, нашел сестру и брата. Свидетелям наших рассуждений о Лье и тайной миссии было сказано, что мы, добираясь до Красноярска, почти ничего не ели (что было правдой!), вследствие чего слегка «тронулись умом». Поздравляя нас, широколицый здоровяк Западный извинился за «рукоприкладство» и «вынужденное негостеприимство».

– Все-таки вы, ребята, здорово похожи на нашего Терентия Дмитрича! – искренне признался он.

«А как же – голубые глаза!» – *тайно и радостно* подумал я.

Нас поселили в общежитии ОГПУ.

Иг выписался из больницы через трое суток. Врачи поставили ему диагноз: «сильнейшее переутомление, поведшее за собой глубокий обморок с квазиэпилептическим припадком». Из Москвы от Ягоды пришло распоряжение – отправить Дерибаса в отпуск для поправки здоровья. Председатель ОГПУ СССР любил и ценил «неистового Дерибаса, железной рукой наведшего порядок на Дальнем Востоке».

В Хабаровске Иг занимал красивый особняк на Амурском бульваре. Бывшая жена и сын остались в Москве, здесь же он сожительствовал с актрисой драматического театра. В особняке Иг мы снова встретились втроем. Иг пришел в себя, грудь залечивалась, сердце начинало *жить*. В небольшом, но уютном каминном зале мы разожгли огонь, опустили шторы, сбросили с себя убогие человеческие одежды, опустились на ковер и замерли, обнявшись.

Время остановилось для нас.

Очнувшись, мы с Фер впервые после нашей встречи вдоволь наелись фруктов, которых в доме Иг было предостаточно. Начальнику краевого ОГПУ доставляли крымский виноград и персики, астраханские арбузы и сливы, кавказские груши и мандарины. Глядя, как мы, голые, озаряемые сполохами каминного пламени, с наслаждением едим фрукты, Иг любовался нами. Он был похож на малыша, учащегося ходить. Жестокий и непримиримый, воспринимающий жизнь как непрерывную беспощадную борьбу, он словно вылез из старого стального панциря, утыканного окровавленными шипами, и, мягкий, беззащитный, сделал свой первый *шаг*.

Наши сердца *бережно* трогали его.

Наши губы говорили с ним.

Я и Фер рассказали обретенному брату свою жизнь. А он рассказал свою. Жизненный путь сорокапятилетнего Терентия Дерибаса прошел под знаком Вечной Борьбы: крестьянское детство в захолустье, затем город, реальное училище, заводская рабочая среда, нелегальный кружок РСДРП, романтика революционного подполья, вера в светлое будущее, листовки и агит-

тация, русский марксизм, арест, ссылка, побег, опять арест, опять ссылка, революция, рабочие дружины, врожденное умение командовать людьми, заражать своей яростью и гнуть под себя, Гражданская война, путь комиссара полка, дивизии и армии, победа над белыми, опыт и авторитет, пост в ВЧК, беспощадность к оставшимся врагам, личная благодарность Ленина, непоколебимость и жестокость, абсолютная преданность партии и – должность начальника секретного отдела ОГПУ, члена коллегии ОГПУ, а затем – полпреда ОГПУ по Дальневосточному краю.

Десятки людей Дерибас во время войны и после расстрелял лично; тысячи были расстреляны по его приказу. Для большевиков он был идеальной машиной подавления и уничтожения.

Когда же ледяной молот ударил ему в грудь, Дерибас умер.

А Иг появился на свет. И стал нашим братом.

Он рассказал нам удивительную историю. В 1908 году он жил в очередной ссылке в Западной Сибири, в деревушке на берегу могучего Иртыша. Он ждал зимы, когда Иртыш встанет и можно будет договориться с ямщиком и на санях по льду совершить побег до Омска, а там сесть на поезд и уехать из холодной Сибири. В конце июня он увидел сон: ему приснился его дед, Ерофей Дерибас. Дед был ледяной. Все тело его было изо льда – и голова, и кривые ноги кавалериста, и обрубок правой руки, потерянной им на войне с турками. Дед сидит за новым, пахнущим свежеструганым деревом столом в новой, только что поставленной хате Дерибасов в том самом селе Успенском, где родился и вырос Терентий. Вокруг деда восседает вся семья Дерибасов. Посреди стола лежит зажаренная свиная голова. Семилетний Тереша сидит напротив деда. Дед отрезает куски горячей, дымящейся свинины своей единственной и ловкой левой рукой и протягивает каждому члену семьи, сопровождая кусок прибауткой. Все смеются и с аппетитом едят свинину. Терентий чувствует, как вкусно пахнет мясо, он *очень* голоден; слюна течет у него изо рта, он не в силах больше терпеть – ему *ужасно* хочется есть. Но дед не торопится: ледяная рука, орудуя ножом, срезает очередной ломоть, протягивает, но – опять не Терентию. Пока дед говорит прибаутку, он держит теплую свинину в руке; жир сочится из ломтя, капает крупными каплями. Наконец все, кроме маленького Терентия, получают свои куски и смачно, с аппетитом едят теплую свинину. Ест и сам дед.

– Деда, а мне? – спрашивает Терентий.

Дед ест и смотрит на Терентия ледяными глазами.

– Деда, а мне? – спрашивает снова готовый заплакать Терентий.

Быстро проглотив свой кусок, дед вытирает ледяной рукой ледяную бороду, рыгает и говорит:

– А тебе, Терешка, этого не надобно.

Рот Терентия кривится от обиды:

– А чего мне надобно?

– Вот чего! – отвечает дед и вдруг резко и *очень* больно бьет Терентия ледяным кулаком в грудь.

И от этого удара Терентий понимает всем существом, что ему нужен Лед.

Терентий проснулся на печи, в своей избушке от сильного грома. Избушку качнуло. Грудь его болела так, словно действительно его кто-то ударил. И он тогда *почувствовал*, что его дед в это мгновение умер. Это было правдой: дед Ерофей скончался утром 30 июня 1908 года.

Услышав от меня в поезде первый рассказ про Лед, он вспомнил своего деда и свой фантастический сон. Тогда же у него возникло чувство, что я *знал* его деда. Поэтому он так навязчиво спрашивал меня про него.

Сон Иг укрепил нашу веру в силу Льда. Каждый из *наших* видел сны, связанные со Льдом. И в этом была Великая Мудрость Света.

Отдохнув и выспавшись, мы собрались в дорогу. Чекист Дерибас для поправки здоровья должен был отправиться в санаторий на крымском побережье Черного моря. Мы ехали с ним.

Нам выдали новые документы с громкой фамилией Дерибас: я стал Александром Дмитриевичем, Фер – Анфисой Дмитриевной. Необходимо было остановиться в Красноярске, найти Рубу и Эп, чтобы взять их с собой. Мы беспокоились за их жизни – ГПУ разыскивало Рубу. И конечно же надо было сохранить оставшиеся шесть кусков Льда. Четыре куска Иг спрятал у себя в доме на чердаке: там было холодно, а зима в Хабаровске была морозной. Два куска он упаковал в деревянные ящики, опечатал пломбами ОГПУ и распорядился погрузить на поезд. Их разместили в неотапливаемом тамбуре.

В конце октября поезд тронулся. В нем ехали мы, охрана, повар, врач и секретарь Дерибаса. В Восточной Сибири уже стояла зима – снег лежал на проплывающих мимо окон сопках, кружился вокруг вагонов. Поезд с красной звездой на носу паровоза мчался на запад. Колеса стучали по промерзлым рельсам Транссиба. Мы втроем сидели в купе Дерибаса и говорили о будущем. Нас ждало *очень* большое дело. Дело всей нашей жизни. Мы стояли в начале великого пути к Свету. Важно было не ошибиться, не действовать наспех. Но и медлить мы не имели права.

Нас было всего пятеро, проснувшихся сердцем. Оставалось 22 995 братьев и сестер, рассеянных по сложно устроенному миру этой планеты. Они жили в разных странах, говорили на разных языках, не догадываясь о Великом Родстве, ничего не зная о своей истинной природе. Сердца их спали, бессловесными насосами качая кровь в телесной темноте. Потом изнашивались, старели, останавливались. И их закапывали в землю. Но Свет, покинувший умершее сердце, сразу же воплощался в сердце новорожденного человека, делая его нашим братом. И маленькое сердце его начинало снова качать кровь в темноте младенческого тела.

Нам предстояло нарушить этот порочный круг. Ледяным молотом отделить Божественный Свет от мерзкой, недолговечной плоти.

Сердца наши горели страстью.

Но ее одной было мало. Нам предстояло начать долгую и упорную войну против рода человеческого за наших братьев и сестер. На нее нужны были огромные средства. Чтобы просеивать человеческую породу, выискивая золотой песок нашего Братства, нужна была власть над этой породой. Власть над миром людей давали деньги. Но в советской России деньги не играли такой же роли, как в остальном мире. В стране, живущей под красным флагом с серпом и молотом, абсолютной властью обладало только государство. Чтобы добиться успеха в России, нам предстояло стать частью государственной машины, заслониться ею и, надев мундиры чиновников, делать *наше* дело. Другого пути не было. Любое тайное общество, существующее вне тоталитарного государства, было обречено. Мы не могли позволить себе стать подпольщиками, членами тайного ордена, прячущимися по темным углам внизу иерархической лестницы власти. Такой путь вел в застенки ОГПУ и сталинские лагеря. Нужно было карабкаться наверх по этой лестнице и прочно встать на ней. Тогда сложный и кропотливый процесс поиска *наших* имел бы нужную защиту. Братству необходимо было идти во власть. Влезть в ее толстую кожу. И искать *наших*.

Так решили наши головы.

Так подсказывали наши *мудрые* сердца.

И мы начали поиск. Решено было останавливаться в каждом крупном городе. Так мы и сделали. В Чите поезд остановился. Иг вызвал своего секретаря и на наших глазах *легко* влез в свой стальной панцирь главного чекиста Дальнего Востока. С чужими он снова стал беспощадным и принципиальным Дерибасом, сторожевым псом революции. Он велел секретарю вызвать начальника местного ОГПУ. Когда озадаченный начальник поднялся в вагон, Дерибас приказал ему предоставить нам машину с водителем и сопровождающим чекистом. Мы с Фер сели в нее и поехали по городу. Наш сердечный *магнит* заработал. Мы *искали*. Останавливались на улицах, заходили на рынки и в магазины, в советские учреждения и казармы. Целый день мы перемещались по уютной двухэтажной Чите, окруженной белыми от снега горами. Но

сердца наши молчали: в Чите не было *наших*. Устав от *сердечного ожидания* и отчаявшись, я приказал ехать на вокзал. На обратном пути я понял, *как* сильно рассеяны наши среди людей: в сорокатысячном городе не было ни одного! И наши с Фер сердца *оценили* чудесное и быстрое обретение трех братьев. Свет, живущий в наших сердцах, помогал нам.

Въехав на небольшую привокзальную площадь, усыпанную окурками и шелухой от кедровых орешков, мы стали вылезать из машины. И вдруг сердца наши *торкнулись*. Где-то неподалеку жалобно звучала флейта. Фер оглянулась. Ее сердце *чувствовало* наших сильнее моего. Как сомнамбула, она двинулась через площадь, натываясь на зевак и пассажиров, ждущих поезда. Я пошел за ней. Чекист, так и не поняв, кого так напряженно искали мы целый день, стоял и курил у машины. Пока я шел, сердце стало *трепетать*. Все больше и больше. Глаза мои, видящие спину Фер, заволокло слезами. Как я *любил* мою сестру в такие роковые мгновения! Она вела меня. И сердца наши *перекликались*.

Фер остановилась. Я чуть не налетел на нее.

Перед ней на деревянном ящике сидел интеллигентного вида человек средних лет в некогда дорогом, но оборванном и грязном пальто с засаленным песцовым воротником и играл на флейте. На длинном, с горбинкой носу его подрагивало треснутое пенсне. Рыжеватые усы были в инее. Светло-голубые глаза смотрели рассеянно-обреченно: этому человеку уже нечего было терять. В старых серых валенках виднелись дырки. Он играл что-то жалобно-заунывное.

Мы замерли, стоя перед ним.

Сердца *трепетали*: он наш брат!

Спящее сердце его *впервые* почувствовало мощь Света, пылавшего в наших сердцах. Мелодия оборвалась. Наш брат поднял глаза. Они встретились с нашими. Пенсне его задрожало, глаза расширились от ужаса. Он поднял флейту, заслоняясь от нас, и хрипло закричал, валясь с ящика:

– Не-е-е-ет!!!

Мы подхватили его под руки. Он вопил хриплым, простуженным голосом, слабо вырываясь. Ужас его был неподдельным: тонкое, отощавшее лицо побледнело, рот свело судорогой.

– Не-е-ет!!! Не-еет! Не-е-е-е-ет!!! – вопил он, дергаясь в наших руках.

Народ с любопытством глазел на нас. Подбежал чекист.

– Мы искали *его*! – срывающимся от радости голосом сообщил я чекисту.

– Так я ж его знаю, гада! – Чекист схватил вокзального музыканта за воротник. – Недобиток белый! А ну пошли, хватит прикидываться!

Втроем мы поволокли воющего музыканта к платформе, где стоял наш красноносый поезд. По дороге музыкант лишился чувств. Флейта выпала из его окоченевших пальцев. Но мы не подобрали ее: зачем ему теперь флейта?! Радость наша рвалась из сердец. Хотелось хохотать, визжать и рычать от счастья.

– Он, тварь, у беляков в оркестре играл... – бормотал чекист. – Не шлепнули, пожалели гада: музыкант, как-никак... Товарищ Бабич сказал ему – чтоб духу твоего в Чите не было, говно белое. Нет, приполз назад, подлюка... Вы его за старое искали?

– За *новое*! – радостно ответил я.

Чекист замолчал.

Мы отнесли бесчувственного флейтиста в главное купе, Дерибас дал команду. И поезд тронулся. Стоящие на перроне местные чекисты отдали честь. Город Чита, подаривший нам брата, уплывал за окном от нас навсегда: *наших* здесь больше не было. Наступал вечер, в двухэтажных домах тускло загорались окна. Заснеженные горы заслонили город.

Охрана внесла в купе ящик со Льдом. И вышла. Иг запер дверь. Рука его дрожала от нетерпения. Мы открыли ящик. Вынули Лед, положили на пол. И не удержавшись, обхватили его руками. Сердца наши *резонировали* со Льдом. Стоны и вскрики вырвались из наших уст.

Музыкант зашевелился, открыл глаза. И с ужасом посмотрел на нас.

Пора было будить нашего брата.

– Ничего не бойся, – сказал я ему. – Ты среди *самых* близких.

Он закричал, как раненый заяц. Иг зажал ему рот, завязал носовым платком. Мы стали раздевать бродячего музыканта. Под пальто оказалась старая женская кофта, прорванная на локтях, под ней – грязная толстовка. Она кишела вшами. Тело его было худым и давно немывшим, как у настоящего бездомного. Он извивался в наших руках и слабо стонал. Иг рукоятью револьвера отколол от Льда подходящий кусок. Фер вытянула шнурки из своих ботинок, искала глазами: в углу купе Дерибаса стоял красный флаг. По советским праздникам его укрепляли на паровозе. Фер схватила флаг, сорвала с древка полинявший кумач. Мы привязали Лед к древку, Иг поднял стонущего музыканта и прижал его спиной к своей груди. Я прицелился в его худую, грязную грудь, размахнулся и ударил в нее ледяным молотом. Удар был столь силен, что Иг вместе с музыкантом попятнулись, споткнулись о диван и повалились на него. Древко сломалось, куски Льда брызнули во все стороны. Один из них рассек Фер лоб над бровью. Музыкант потерял сознание. Мы бросились к нему, сорвали со рта повязку. Он был бездыханный.

– Ты убил его! – воскликнул Иг.

Но сердце Иг было еще очень *молодо* по сравнению с нашими. Мы *знали*, что брат жив. Из носа его потекла кровь. Фер прижалась ухом к груди флейтиста. Сердце молчало.

– Говори сердцем! – яростно прошептала Фер.

– Говори сердцем! – *торкнул* я.

– Говори сердцем! – прорывал Иг.

И брат наш заговорил сердцем:

– Кта! Кта! Кта!

Мы завопили от радости так, что секретарь Дерибаса постучал в дверь.

– Вольно! – радостно крикнул ему Иг.

Брат Кта зашевелился, застонал. Ему было больно: молот сильно рассек грудину. Но ожившее сердце билось и говорило, билось и говорило:

– Кта! Кта! Кта!

Мы плакали от радости. Кта стонал. Кровь сочилась из раны, текла по его худым ребрам. Иг прижал платок к ране и, брызгая слезами, закричал так, что лицо его мгновенно побагровело:

– Фурман, врача!!!

– Есть! – раздалось за дверью.

Я кинулся собирать драгоценный Лед. Но сердце вдруг *подказало*: не надо поднимать эти куски, ледяной молот бьет ТОЛЬКО в одну грудь. В этом была мудрость Света. Я замер на корточках над лежащими на ковре кусками. По одному из них ползла вошь. Она стряхнула с меня оцепенение. Подняв главный кусок, я положил его в ящик, закрыл крышкой, стал забивать ее рукоятью нагана. Иг схватил обломки древка и вместе с кумачом сунул под диван.

В дверь застучали. Иг открыл. Вошел врач, следом секретарь Фурман.

– У него грудь разбита, – показал Иг на Кта. – Сделайте, что надо, Семенов. За жизнь его отвечаете.

Врач потрогал грудину. Кта вскрикнул.

– Трещина... – пробормотал врач. – Нужна мягкая шина.

– Делайте... делай, что надо! Расстреляю!!! – закричал Иг, теряя самообладание.

Врач побелел: Дерибас никогда так не разговаривал с ним.

Я положил ему руку на спину, *торкнул* сердцем:

– Спокойно.

В отличие от нас с Фер Иг еще не *плакал* сердцем. И мудрость Света ему пока не открылась.

Врач наложил Кта на грудь мягкую шину, сделал укол морфия. Кта провалился в глубокий сон. Мы накрыли его одеялом, оставили на диване в купе. Охрана вынесла ящик со Льдом в холодный тамбур. Мы сели вокруг спящего Кта. Наступила ночь. Я выключил свет в купе. Вагон качало. За окном тянулся черный, непроглядный лес и прмелькивало звездное небо. В темноте мы соединили руки. Сердца наши бились *равно*. Они берегли сон *новорожденного*.

На следующее утро Кта пришел в себя. Страх не покинул его изможденное тело. Но мы сделали все, чтобы он *понял*, кто мы.

Поезд пошел вдоль берега Байкала, огромного сибирского озера. Вдруг мы встали. Дерибасу доложили: впереди произошло столкновение двух поездов. Починка путей заняла четверо суток. За это время Кта окончательно пришел в себя. Мы увидели в этом промысел Света: поезда столкнулись, чтобы дать отдых проснувшемуся сердцу.

Кта поведал нам о себе. Он, Иосиф Цейтлин, был из среднеобеспеченной еврейской семьи, окончил Московскую консерваторию по классу флейты, играл в оркестре Большого театра, во время Гражданской войны бежал из столицы за Урал, попал к белым, играл в военном оркестре на трубе, оказался в плену у красных, чудом не был расстрелян, четыре года прожил в Чите, давая частные уроки музыки, затем был арестован как «бывший», снова чудом избежал репрессий, был изгнан из города, скитался, играя на вокзалах, потом *почему-то* вернулся в Читу, хотя начальник тамошнего ОГПУ Артем Бабич пригрозил ему расстрелом.

Цейтлин тоже видел *странный* сон: 29 июня 1908 года под Москвой на даче пианистки Марии Керзиной состоялся музыкальный вечер по случаю именин ее мужа, известного промышленника, мецената музыкального искусства, председателя московского «Кружка любителей русской музыки»; на вечере играли камерную музыку, Цейтлин тоже выступил, сыграв со струнным квартетом; все завершилось традиционным дачным застольем с последующим шумным ночным купанием в реке Клязьме; в тот вечер Иосиф выпил больше обычного и рано утром проснулся от жажды и головной боли; спустившись с мансарды вниз, дабы не беспокоить спящих, он вышел в приусадебный сад, нашел колодец, открыл его деревянную дверцу; ведро на веревке было уже спущено вниз, оставалось только поднять его; Иосиф схватился за железную рукоять барабана и стал крутить, поднимая полное ведро; колодец оказался глубоким, даже *очень* глубоким; Иосиф вращал и вращал железную рукоять, поднимая ведро и думая о исцеляющей, холодной до ломоты в зубах колодезной воде; но ведро все не появлялось; мучась от жажды и нетерпения, Цейтлин заглянул в колодец; он оказался *невероятно* глубоким: дна не было видно! Стены колодца сужались в черную точку, над которой висело маленькое ведро – до него было еще очень далеко; Иосиф стал крутить изо всех сил; веревка наматывалась на барабан, делая его все толще и толще, пока он не превратился в толстенный моток веревки; Иосиф устал, крутил обеими руками, они дрожали от напряжения; наконец ведро показалось, Иосиф глянул: оно было кубической формы; от неожиданности он прекратил вертеть рукоять и вперился в необыкновенное ведро; чистейшая колодезная вода плескалась в нем; в это мгновение взошло солнце и его лучи коснулись воды в ведре; поверхность воды просияла светом и словно стала *светоносной* иконой; на этой иконе были изображены голубоглазые и русоволосые юноша и девушка с большим куском льда в руках; от них исходила *новая* сила, которая потрясла Цейтлина так, что он выпустил рукоять и проснулся; он лежал на кровати в мансарде дачи и очень хотел пить; спустившись по лестнице, он вышел в сад, как в своем сне, нашел колодец на том же месте, открыл его; полное ведро с водой стояло на краю колодезного сруба; он стал жадно пить из ведра; напившись, отстранился и увидел свое отражение в воде и *понял*, что когда-нибудь юноша и девушка с куском Льда придут за ним.

Когда мы с Фер на привокзальной площади подошли к нему, он узнал нас и закричал от того, что сон его сбывся.

Мы *говорили* с Кта.

Потом поезд тронулся.

Следующей остановкой был Иркутск. Мы поступили так же, как и в Чите: сели в чекистскую машину и поехали по городу. Он был более цивилизованным, чем Чита, здесь стояли не только одноэтажные и двухэтажные дома, но встречались и довольно красивые здания. И опять мы проездили целый день по городу, заглядывая в людные места. И опять никого не обнаружил наш сердечный *магнит*. Быстро наступил вечер. Подъехав к вокзалу, мы с Фер вышли из машины. Здание вокзала было больше, чем в Чите. Но привокзальная площадь – меньше. Она тоже была усыпана окурками, шелухой семечек и кедровых орешков. Мы остановились посередине. Но здесь *никто* не играл на флейте.

Иркутск был пуст.

Мы сели в наш поезд, и он тронулся. После дня *просвещения* Иркутска нашими сердцами мы с Фер почувствовали огромную усталость: словно нас, как провинившихся солдат в царской армии, провели сквозь строй. Сердца наши были выжаты и опустошены. Не было сил плакать. Еле добравшись до своих кроватей, мы повалились на них и заснули.

А проснулись уже в Красноярске.

Здесь надо было искать прежде всего Эп и Рубу, а потом уже – новых братьев и сестер. На вокзале нас уже ждали: иркутские чекисты сообщили в Красноярск о поезде Дерибаса, машина доставила меня и Иг в городское управление ОГПУ. Фер осталась в поезде с Кта. Первым делом мы на машине отправились по нашему старому адресу. Но домик, на террасе которого я слышал разговор пьяного ломовика с лошастью, был пуст. Наши братья покинули его. Соседи ничего не знали. Вернувшись в управление, Иг потребовал оперативные сводки за последний месяц. В одной из них сообщалось об угоне грузовой автомашины, принадлежащей городской хлебопекарне. Тремя днями позже эта машина была найдена брошенной в Канске. Там же угонщики сели на поезд, их опознала билетерша на вокзале. Они взяли билеты до Хабаровска. Значит, они уже были там! Эп и Рубу пробирались к нам на помощь, не ведая, что нам уже *помогли*. Теперь требовалось найти их в Хабаровске. Или уже в другом сибирском городе? Но мы-то ехали в Крым! Возвращаться было невозможно: мы везли Лед на запад, чтобы искать и пробуждать сердца. Эп и Рубу ждали нас где-то на востоке. Огромные российские расстояния угнетали: люди терялись на таких просторах как песчинки. А *братья* — и подавно. Иг послал телефонограмму в Хабаровск: задержать *только* живьем двух опасных преступников; каждый, кто осмелится в них стрелять, пойдет под суд. Зловещие маховики ОГПУ завертели: Эп и Рубу начали искать с новой силой.

А мы начали *свой* поиск: черный «Форд» выехал из ворот здания ОГПУ на улице Ленина. На заднем сиденье его расположились мы с Фер. Красноярск тоже не обрадовал нас: два дня колесил «черный ворон» по городу, напоминая жителям о ночных арестах, два дня перед нами распахивались двери университета, казармы, трех общежитий, четырех школ и больницы. Лица людей проплывали мимо сердечного *магнита* бесконечной чередой. Но *наших* не оказалось среди них.

На третьи сутки мы покинули Красноярск.

Мы с Фер *привыкли* к нашей работе. И уже не так уставали от сердечного *просвещения* городов.

Следующим был Новосибирск.

И там нам повезло. Едва мы *просветили* рынок, чувствительное сердце Фер *встрепенулось*: кто-то есть. Сперва я не почувствовал ничего. Потом – почувствовал, но уже *вместе* с моей удивительной сестрой. Мы кружили вокруг рынка, но *не видели* нашего, хотя остро чувствовали его. Это продолжалось более часа. Фер стала впадать в отчаяние: она взвизгивала и била себя в грудь, словно заставляя сердце *видеть* точнее. И вдруг стало ясно, откуда идет *источник*: чуть вдалеке от рынка стояла небольшая церквушка. Большевики не тронули ее, в ней справляли службу. Дверь ее открывалась и закрывалась, впуская и выпуская верующих.

Именно это и *сбивало* нас. *Источник* был внутри. Мы вошли в церковь. И закрыли глаза от восторга: *он* вел службу! Высокий и статный, лет сорока пяти, с гривой густых русых волос, с окладистой русой бородой, мужественно-благородным лицом и голубыми, близко посаженными глазами, он стоял у алтарных врат в золотистом облачении священника и, маша дымящимся кадилом, сильным грудным голосом призывал верующих:

– Миром Господу помолимся!

И они молились, крестясь и кланяясь. Фер схватила мою руку и сжала до хруста. Сердца наши ликовали. Служба длилась *слишком* долго. Но мы *терпели*, наслаждаясь ожиданием. Мы понимали, что у нашего брата эта служба – последняя. Изредка он поглядывал на нас, выделяя из толпы. Но сердце его было спокойно. Наконец все закончилось. И к батюшке выстроилась очередь причащающихся. Как только он закончил причащать верующих, его арестовали и доставили к нам на поезд. Он оказался мужественным не только внешне: сопротивлялся, грозил нам адовыми муками и запел псалом. Ледяной молот прервал его пение. Потеряв сознание, он пришел в себя уже *другим*.

– Оа! Оа! Оа! – говорило его сердце.

Мы плакали от радости, обнимая его.

Оа принес нам счастье: после него в каждом крупном городе нашего следования мы обретали своих братьев. Но только братьев. И ни одной сестры. Так вершилась воля Света.

В Омске мы нашли Кти.

В Челябинске – Эдлап.

В Уфе – Ем.

В Саратове – Аче.

В Ростове-на Дону – Бидуго.

Возможно, в этих городах находились и другие наши братья, но, найдя одного, мы уже не могли искать других: не было сил. Новообретенного сразу везли на вокзал, к поезду. На этом поиск прерывался и начиналась божественная процедура *оживления*. Она потрясала *не только* новообретенных, но и тех, кто держал их за дрожащие руки, зажимал им воюющие рты, размахивался и со всей силы бил в грудь ледяным молотом, кто жадно вслушивался в *трепыхание* пробуждающего сердца, а потом, рыдая от восторга, повторял на убогом языке людей священные имена братьев:

– Кти! Эдлап! Ем! Аче! Бидуго!

После всего этого вновь садиться в чекистский воронок и отправляться на поиски еще раз мы уже не могли: сердца наши требовали отдыха. И поезд с красной звездой шел дальше. Новообретенных разместили во втором вагоне, где были отдельные гостевые купе. За ними присматривал врач. Все они оказались голубоглазыми и русоволосыми. Как я, Фер, Иг. Как Рубу и Эп. И мы навсегда поняли, что в этом опознавательный знак Света: черноволосыми и сероглазыми *наши* быть не могут. Искать надо *только* среди голубоглазых и светловолосых.

Сердца делали нас мудрыми. Чтобы у помощника и местных чекистов не было вопросов по поводу нашего не совсем обычного поиска, Иг говорил им, что мы ищем тайную шпионскую сеть вдоль Транссиба, организованную некой религиозной сектой. Это снимало любые вопросы. Чекистскому доктору Семенову давно уже было все равно – кого и от чего лечить. Охрана и помощник Дерибаса, слыша из купе начальника вскрики и удары, были уверены, что мы пытаем арестованных.

Мы же *будили* их от мертвого сна.

Но поняли, что скоро будет нечем это делать: после Саратова резко потеплело, законный градусник показывал +10. Лед в ящиках стал активно таять. Надо было что-то делать. И мы с Иг и Фер приняли решение: оставить ящики со Льдом в Ростове-на-Дону, поместив их в холодильник. Большие промышленные холодильники в этом городе в 1928 году имел только колбасный завод. Лед поместили в железные ящики, заперли их на замки и убрали в холо-

дильник. Начальник холодильного цеха по распоряжению Дерибаса нес за них персональную ответственность.

Решено было продолжить поиск, но без льда. Найденных Иг предложил просто арестовывать и содержать в том самом арестанском купе, где везли нас с Фер до Хабаровска.

Но после того как мы расстались со Льдом, удача отвернулась от нас: ни в пыльном и зава-
ленном фруктами Симферополе, ни в приморском Севастополе наш *магнит* не нашел никого. Опустошенные *сердцем* и огорченные, мы с Фер провалились в глубокий сон.

Очнувшись мы уже в машине: нас везли по горному серпантину. Рядом с нами сидел Иг, переодетый в белый китель без знаков различия и белые брюки. Лицо его сияло радостью, он держал нас за руки. Мы подняли головы, осмотрелись: в Крыму стояла солнечная и теп-
лая осень, горы с пожелтевшей и покрасневшей растительностью проплывали вокруг. Я огля-
нулся. За нами шла еще машина: в ней ехали четверо новообращенных братьев – Оа, Кта, Кти и Бидуго. Остальных Иг приказал разместить в симферопольском военном госпитале. Впереди нас рассекал утренний крымский воздух красный открытый автомобиль с местным началь-
ством: секретарь Крымского обкома партии Вегер решил лично препроводить легендарного Дерибаса в санаторий РККА. Они были хорошо знакомы с Гражданской войны.

Проехав по Ялте, этому самому красивому городу Крыма, мы свернули к утопающему в пожелтевших каштанах и акациях зданию санатория и остановились. С братом Иг здесь слу-
чилось давно *ожидаемое*. Сперва по мраморной лестнице к нам спустился директор санатория – улыбчивый толстяк-грузин со сталинскими усами, в таком же белом кителе, как у Иг, и в широких светло-серых брюках.

– Здравия желаю, гости дорогие! – вскинул он кверху пухлые руки и тут же с хлопком сложил их на груди, кланяясь прибывшим.

– Здравствуй, Георгий! – протянул ему руку некрасивый, крупнолицый секретарь обкома.

– Здравия желаю, Евгений Ильич! – директор затряс руку секретаря так, словно хотел оторвать.

– Смотри, какого человека я тебе доставил. – Вегер кивнул на выходящего из машины Иг.

– Таварищ Дерибас! – Толстяк засеменил к нашей машине. – Устали ждать вас, клянус-честный-слов, осен уже, панимаешь, тепло уходит, а вы все нэ едите да нэ едите! Пачему так нэ уважаете свое здоровье, нэ бережете, клянус-честный-слов, пажалуюс на вас таварищу Сталину!

Секретарь рассмеялся. Иг заулыбался, как *положено* Дерибасу, подал толстяку руку. Они были знакомы.

– Здоров. Ехали-ехали, вот и приехали. Два года не был у тебя, а?

– Плохо это, очень плохо, таварищ Дерибас, клянус-честный-слов!

– Зато теперь – с родней! Как тут у тебя? Отдохнуть можно?

Толстяк прижал пухлые ладони к своей пухлой груди:

– Таварищ Дерибас, я всегда гаварил, что у нас красные командиры отдыхают сердцем. Иг побледнел:

– Как... ты сказал?

– Сердцем! Самим сердцем, клянус-честный-слов! – захлопал себя по груди директор.

Сердце Иг *вздрагнуло*. И мы с Фер поняли, что сейчас будет. Иг со всхлипом втянул воздух, закинул голову и стал падать назад. Мы подхватили его.

– Эпилепсия! – сказал я людям.

На самом деле это *заплакало* сердце Иг. И сам он тоже.

Засуетились вокруг, прибежал дежурный врач. Иг рыдал и бился. Его отнесли в палату, вкололи морфия. Нас разместили рядом, в соседней палате.

– Вот так, ребята. – Секретарь обкома сочувственно похлопал нас с Фер по плечам. – Врагов на Дальнем Востоке давить – это вам не подсолнух лущить. Устал товарищ Дерибас, перетрудился. Ему покой треба. Берегите сердце брата. Оно партии очень нужно.

– И *нам* тоже, – ответила Фер.

Сила сердца

Пять дней понадобилось Иг, чтобы прийти в себя. Опустошенный и очищенный сердечным плачем, он лежал на диване в трехместной палате и с осторожностью слабого старика ел крымский виноград. Я сидел в кресле напротив, Фер – на подоконнике распахнутого окна, Кта – на стуле, посередине палаты, Оа стоял, прислонившись к дверному косяку. Несмотря на конец октября, сохранялась теплая погода, ветерок чуть колебал занавеску окна и волосы Фер. Массивные напольные часы только что пробили четыре часа пополудни. Утомленное осеннее солнце припекало Фер, натертый мастикой паркет и пожелтевшие листья акаций за окном.

Мы встретились в палате Иг, чтобы поговорить о будущем. Кти и Бидуго не было с нами: пробуждение сердца потрясло их сильнее других, Иг приказал поместить их в госпитальную палату, пока они приходят в себя.

Нужно было понять – *как* нам жить дальше среди людей. И не просто жить, а искать *наших*. Возникло множество вопросов: где жить, кем быть в этой большевистской стране, как и в каких местах искать, где прятать найденных, как доставлять Лед, где его хранить, и самое главное – что сделать, чтобы нас не арестовали как заговорщиков и после пыток не расстреляли в подвалах ОГПУ.

Все, что произошло, было не иначе, как *чудом*. Мы все поняли: нам *очень* везло эти два последних месяца. Но надеяться на везение и впредь было крайне опасно. Нужно было *рассчитать* нашу дальнейшую жизнь. И составить план действий.

В этот тихий час угасающего осеннего дня наши сердца молчали. Но и разговаривать на языке людей тоже не хотелось. Мы замерли, глядя в окно, на угасающее солнце, и не двигались. Лишь Иг неспешно ел виноград. Пальцы его отрывали фиолетовые ягоды и отправляли в рот.

Наконец я прервал молчание:

– Как нам жить?

Все повернули ко мне лица. Лишь сидящая на подоконнике Фер осталась неподвижной. Гибкая и молодая фигура ее была залита солнечным светом. Она словно удерживала свет, не давая ему погаснуть.

– Как нам жить? – снова спросил я.

Иг перестал поглощать виноградины. Братья молчали. Сердца их – тоже. И вдруг впервые с момента пробуждения я почувствовал *беспомощность*. Как только мое сердце смолкло, я стал обычным человеком. И стал искать защиту у разума. С момента пробуждения, когда я ударился грудью о глыбу Льда, меня словно поставили на колеса. И я катил и катил на них, не останавливаясь и не сомневаясь ни в чем. Сейчас мой «поезд» остановился. Что-то произошло во мне и в нас. Я *чувствовал*, что братья молчат не случайно. Им *нечего* было мне ответить. Они тоже *остановились*. Впереди нас лежал мир людей. И никто не проложил по нему колеи для наших колес. Мир этот был суров и беспощаден.

И первые признаки земного страха шевельнулись в моей голове. Лица братьев побледнели: они чувствовали то же самое. Держащая виноградную гроздь рука Иг конвульсивно сжалась. Розовый сок брызнул сквозь пальцы. Губы Иг побелели.

Мудрость Света покидала наши сердца.

И мы почувствовали одиночество. И нам стало СТРАШНО. Это было ужасно: страх, который я победил, лежа на глыбе Льда, вдруг вернулся. Мне был страшен страх. Но гораздо страшнее была сама *возможность* страха. Его возвращение пугало и потрясало больше, чем он сам по себе.

Вдруг Фер зашевелилась и с *величайшим трудом* повернулась к нам. Лицо ее окаменело от ужаса. Я никогда не видел ее такой. Она смотрела на нас как на умирающих. Волосы зашевелились на моей голове. Я в одну секунду осознал, что нам никогда не вырвать из тунгусского

болота божественную глыбу Льда, никогда не найти всех *наших*, никогда не стать Светом. Мы обречены на гибель в этом чужом и беспощадном мире, перемалывающем живых существ. В мире, распахнувшем перед нами свою могильную пасть.

И человеческая Смерть бесшумно вошла в залитую солнечным светом комнату.

Мы застыли. Только пылинки кружились в солнечных лучах.

Но вдруг Фер, оцепеневшая на подоконнике, стала поднимать свои руки. Ей было *невероятно* тяжело это делать. Смертельный страх мешал ей двигаться. Но она боролась. Руки ее поднимались и тянулись к нам.

И мы *поняли*.

Сидящий справа от нее Кта стал тянуть к ней свою руку. Я, слева со своего кресла, протянул свою. Иг с кровати потянулся ко мне, стоящий у двери Оа – к Иг. Никогда в жизни мне не было так трудно тянуть свою руку. Она была *тяжела* и не слушалась. Другим тоже было *очень* тяжело. Дрожа и напрягаясь, мы тянулись друг к другу. Мы совершали *тяжелейшую* работу.

На мгновения я почувствовал, что солнечный свет, затопивший палату, – это вязкое вещество, которое мы пытаемся раздвинуть своими руками. Руки тянулись, тянулись, тянулись. Кта упал со стула, я свалился с кресла, Оа и Иг поползли по полу. Мы *мучительно* ползли к подоконнику, к сидящей на нем Фер. Тела наши обливались ледяным потом. Пот залил мне глаза. Я видел лишь размытый контур руки Фер. В этой руке было спасение. И я дотянулся. Кта дотянулся до правой руки.

Мы вцепились в руки друг друга. И из последних сил образовали круг. Малый Круг Света. Едва мы сделали это, сердца наши *вздрогнули*. И ожили.

Свет снова *заговорил* в них. С такой силой, что крики восторга вырвались из наших уст. Фер спасла нас! Ее не покинула Мудрость Света. Наша единственная сестра стала Великой Спасительницей Братства Света Изначального.

Мы подползли к ней, обняли, плача от восторга спасения. А она все еще сидела на подоконнике. Мы *любили* нашу единственную сестру. И она *любила* нас. Сжимая наши руки и прикладывая к своей груди, она смотрела на нас сверху. Слезы радости текли из ее глаз, капали на наши лица. Солнечный свет играл в слезах Фер.

Сердца наши *заговорили*. С новой силой.

Это продолжалось всю ночь.

Утром мы *знали*, что надо делать. Чужой мир по-прежнему окружал нас со всех сторон. Но по нему уже были проложены дороги и колеи. Сила сердца проложила эти дороги. Она словно раздвинула мир. И мы увидели в нем глубокие щели, которые ждали нас. Нам нужно было без страха и опасений двигаться по этим дорогам, заползая в щели мира, мимикрировать и делать наше великое дело.

Фер произнесла на языке людей:

– Свет всегда пребудет с нами. Он *научит* нас. И мы сделаем все, что необходимо.

Больше мы *никогда* не доверялись только своему разуму. Любой замысел, любое начинание, любое дело каждый из нас сверял прежде всего со своим сердцем. Сила сердца подсказывала *путь*. Разум обеспечивал *движение* по этому пути. Сила сердца подталкивала разум, стояла за его спиной. И он двигался, преодолевая мир, забирая от него все нужное и отшвыривая лишнее, мешающее. Ложные страхи, неуверенность в будущем, опасения за жизнь братьев – все отлетало прочь.

В этой залитой солнцем палате мы обрели *полную* свободу. Потому что *полностью и навсегда* доверились своим сердцам. И ведали их мощь.

Росло число сердечных слов, обретающих в наших сердцах. Язык сердца становился богаче от каждого разговора. Обнявшись, мы учились друг у друга. Сердца наши становились уверенней.

И сила сердца пребывала с нами.

Сестры

Когда Иг окончательно встал на ноги, решено было воспользоваться его отпуском и начать поиск *наших* в близлежащих городах. Связавшись с местным ОГПУ, Иг достал машину с водителем. Мы с Фер должны были отправиться на этой машине в поисковый вояж. По плану с нами следовал сопровождающий – чекист из оперативного отдела симферопольского ОГПУ. Ему Иг железным голосом Дерибаса сообщил, что отправляет нас с Фер на поиск тайной контрреволюционной организации, на зиму сбежавшей из Сибири в Крым, членов которой мы знаем в лицо. Соответственно, чекист должен всячески содействовать нам в поимке «замаскировавшихся врагов народа». Как только сердечный «магнит» находит *нашего*, мы должны указать на него чекисту, чтоб тот арестовал его. Решено было не брать с собой новообретенных, а сразу препровождать их в местные тюрьмы. После окончания отпуска Дерибаса новообретенных необходимо было доставить на наш поезд. На обратном пути мы должны забрать ящики со Льдом в Ростове-на-Дону и в долгом пути до Хабаровска простучать *наших* ледяным молотом.

Ранним крымским утром автомобиль забрал нас с Фер из санатория. Мы отправились в трехдневную поездку: Севастополь – Симферополь – Мелитополь – Бердянск – Ростов-на-Дону. Теперь искать нам стало уже легче: мы знали *точно*, что братья и сестры Света голубоглазые и светловолосые. Бесконечной чередой проходили перед нами люди, их лица, тела. Мы плыли по морю людей, раздвигали его, погружались с головой и снова всплывали. Мы дышали толпой. Она пахла потом жизни и бормотала о своем. Толпа всегда торопилась. Наш магнит просвечивал ее. И чем глубже погружались мы в процесс поиска в море людском, тем тяжелее нам это давалось. Толпа *густела*. Сердца наши дрожали от напряжения.

В Севастополе мы нашли двух сестер.

В Мелитополе – одну.

В Симферополе – никого.

И никого в большом Ростове-на-Дону. Мы провели в нем сутки. После тяжелых и долгих поисков Фер рвало желчью от напряжения. Она впала в истерику, испугавшую сопровождающего нас чекиста. Я валился с ног от усталости, кровь пошла у меня носом. Автомобиль довез нас до общежития ОГПУ, шофер и чекист помогли Фер подняться по ступенькам крыльца. Я шел следом, стараясь не упасть. Встретившие нас молодые и загорелые ростовские чекисты были обеспокоены.

– Шо случилось, товарищи? – спросил один.

У нас с Фер не было сил ворочать языком. Мы пошли, держась за стену, к нашей комнате. И услышали, как сопровождающий чекист ответил местным:

– Вот, парни, как сибиряки врагов народа ищут. Без продыху. Учитесь!

Мы повалились на кровати. У меня в голове колыхалось людское море. И в нем не было *ни одного* родного лица! Мы обнялись и разрыдались.

Зато в маленьком и уютном Бердянке наш сердечный *магнит* нашел шестерых! И все они оказались сестрами! Это подействовало на нас с Фер как вспышка Света. Но физиологически совершенно раздавило: после поисков и арестов найденных мы упали на пыльную мостовую Бердянска и потеряли сознание. Очнулись уже на заднем сиденье машины: нас везли в Ялту. Я с трудом поднял голову, приподнялся на ослабевших руках. За окном мелькали пирамидальные тополя.

– Все найденные арестованы? – спросил я, с *огромным* трудом вспоминая слова.

– А то как же! – отозвался сидящий впереди чекист. – Будьте покойны.

Я облегченно откинул голову на кожаный подголовник. Голова кружилась. Фер спала.

– Я чего спросить хотел, – закурил чекист, – а чего это они все – бабы?

– Мужей мы уже арестовали, – пробормотал я.

- Понял. – Чекист серьезно качнул смуглой головой, подумал и спросил:
- А много ыщо осталось?
- Много, – ответил я, глядя губы спящей Фер.
- Это точно! – бодро согласился чекист. – Вражин меньше не становится. Ну да ничо.

Вычистим наше поле от сорняков.

Вернувшись в санаторий, мы день пролежали, восстанавливая силы. Братья неотступно были с нами, помогая нашим телам и сердцам. Нас кормили с рук фруктами, как малых детей. Все *наши* были возбуждены: найденные девять сестер не давали им покоя. Братья просили *историй*, трогали наши руки, прикоснувшиеся к сестрам, стараясь *почувствовать* их. Но что могли рассказать губы? Разве способен был убогий язык людей передать *восторг* обретения? Мы говорили сердцем, держа братьев за руки. И они *понимали* нас.

Прошла неделя.

Кта и Оа прошли очищение плачем. Их содержали в больничном корпусе. Все братья, прибывшие с нами в санаторий, были под покровительством Дерибаса, а значит – ОГПУ.

– Им нужно нервишки подлечить, – говорил Иг главврачу санатория. – Работа у нас сам знаешь какая.

Главврач – ялтинский интеллигентный еврей, переживший ужасы Гражданской войны и чудом уцелевший во время красного террора, понимающе кивал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.